



Национальная академия искусств Украины
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА



А. А. Пучков

АДОЛЬФ СОННИ, КИЕВЛЯНИН

К истории классической филологии
в Императорском университете
св. Владимира

Praefatio

Рекомендована к изданию на заседании Ученого совета
Института проблем современного искусства НАИ Украины
17 марта 2011 г., протокол № 2

П 90 Пучков А. А. Адольф Сонни, киевлянин: К истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира / Послесл. А. Ю. Клековкина; Ин-т проблем совр. искусства НАИ Украины. — К.: Феникс, 2011. — 296 с.: ил.

В первой части книжки предложен очерк биографии и научно-служебной деятельности профессора Университета св. Владимира по кафедре классической филологии, доктора греческой словесности, действительного статского советника Адольфа Израилевича Сонни (1861–1922). Освещены ученые контакты персонажа с его коллегами и студентами, современниками и потомками (Ю. А. Кулаковский, Т. Д. Флоринский, В. П. Клиггер, В. Ф. Асмус, Я. Э. Голосовкер, П. П. Блонский и др.). Вторая часть содержит несколько труднодоступных ныне публикаций Сонни «и вокруг»: рецензию Фр. Кауэра на диссертацию о массивах, лекцию Сонни о Дионе Хрисостоме, рецензии на разные сочинения и программный фольклористический труд 1906 года «Горе и Доля в народной сказке».

Книжка приурочена к 150-летию со дня рождения ученого.

Рассчитана на узкий круг специалистов, интересующихся историей классической филологии в России, историей гуманитарной культуры и этнографией.

ББК 63.3(2)5-8+83.3(0)4

Рецензенты

А. В. Босенко, М. Б. Кальницкий,
А. Ю. Клековкин

© А. А. Пучков, 2011
© А. Ю. Клековкина, послесл., 2011
© ИПСИ НАИ Украины, 2011
© Изд-во «Феникс», 2011

ISBN 978-966-651-872-2

Книга двухчастна потому, что решает две задачи, и векторы их решения устремлены навстречу друг другу. Первый вектор — канва биографии Адольфа Сонни, второй — тело его текстов. В месте соприкосновения должна высекаться искра: единство человека с делом его жизни. О первом говорит осевший в архиве документ, о втором — осевшее в библиотеке научное письмо. В любом случае историк работает с текстом, порождая еще один текст, и как ни поворачивай, именно *текстовая наука* исследователя определяет диапазон представления о персонаже. «Биография как пересказ индивидуального есть не повторение или имитация, но радикальная трансформация индивидуального, радикальный прирост его бытия, с необходимостью сопровождаемый переосмыслением эмпирически установленных фактов и событий»¹. Если бы! «Его бытия» у персонажа уже нет — есть текстовое инобытие, создаваемое чужим человеком по мерке своего понимания и глубине проникновения в биографический материал. Остается переосмысление, которое и ведет главную партию.

Но не только чужие тексты порождают твой собственный. Чужая индивидуальность для биографа, если угодно, есть проблема лингвистическая: именно структу-

¹ Валуевский А. Л. Основания биографики. — К., 1993. — С. 19.

ры языка исследуемой культуры должны обозначать и текстуально представлять феноменальный ряд индивидуального в ней. Язык культуры — это тезаурус вещей и явлений, вне которого их смысловые обертоны прокручиваются вхолостую. Киевлянину рубежа XIX–XX веков было понятно, что такое «Калинкин», а нынче нужно объяснять: сорт светлого пива¹. Это оттого, что сто лет прошло, и тезаурус поменялся. Люди XIX века имели право не знать, что такое Кубик Рубика, PSP или «мобила», но мы не имеем права не знать, что такое Семадени, Ландрин и двугривенный, рысистые бега и Волтхем, чем тарлатан отличается от сюртука, зипун от армяка, терлик от мурмолки, экстраординарный профессор от приват-доцента. Внеположное по отношению к изучаемому персонажу исследовательское сознание именно на уровне *языка культуры* колеблется между «живой жизнью» с ее конкретными читателями и слушателями и «путешествием вне автора к определенным адресатам, sub specie aeternitatis»². Эта точка зрения вечности, на которую ориентировался персонаж, — собственно, наша с вами точка зрения, способность нашего творящего мир сознания. Она зиждется, раньше прочего, на различении факта жизни и биографического факта.

Как поступить, когда «годы без документов»? «Кроме того, есть такие документы: регистрируется состояние

¹ Конечно, не стоит путать название пива с просторечным названием питерского Мало-Калинкинского моста через канал Грибоедова (у его впадения в Фонтанку), которое упомянуто, скажем, в «Египетской марке» Мандельштама: «Египетский мост и не нюхал Египта, и ни один порядочный человек в глаза не видал Калинкина!» (*Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. — Нью-Йорк, 1971. — Т. 2. — С. 70*).

² Чудакова М. О. Рукопись и книга: Рассказ об архивоведении, текстологии, хранилищах рукописей писателей. — М., 1986. — С. 15.



Нижний отрезок улицы Левашовской (Шелковичная) в Киеве, последний дом наверху по левую руку — жилье семьи Сонни в последней трети XIX века. Фото конца XX в. из архива М. Б. Кальниченко

здоровья жены и детей, а сам человек отсутствует. И потом сам человек — сколько он скрывает, как иногда похожи его письма на торопливые отписки!»¹ Как семейный альбом: когда любовь остывает, в него прекращают вклеивать фотографии. Так и лежит на полочке едва начатый. «Там, где кончается документ, там я начинаю», — спасительно уверял Ю. Н. Тынянов, понимая, что иного входа в историческое прошлое нет. Так и здесь: документ еще не успел открыться, а я уже разошелся. Хотел начать с того, как Сонни шел на работу — в университет. Как добирался до места службы в течение тридцати с лишним лет. До одного и того же места службы, без перемен, но с летними вакациями.

Чтение лекций, как правило, начиналось после 10 ут-

¹ Тынянов Ю. Н. // Как мы пишем. — Л., 1930. — С. 163. В «Пушкине» Тынянов, замечательный художник, «точнее документа» (*Аникин А. В. Муза и мамона: Социально-экономические мотивы у Пушкина. — М., 1989. — С. 37*).

ра, и всякий уважающий себя профессор (приват-доцент) выходил из дому загодя. Это было нетрудно, поскольку преподаватели университета жили в центральной части Киева. Сонни с семьей обрелся на Левашовской (Шелковичная), вернее, на ее крутом участке, напротив лечебных корпусов Александровской больницы, на том отрезке, когда Левашовская вливается в Бассейную улицу и Собачью тропу (бульв. Леси Украинки). Двухэтажный дом располагался на углу Левашовской и Ново-Левашовской (ул. Дарвина, с 1930-х на этом месте гостиница МВД). Сонни, выходя из дому, сворачивал на Ново-Левашовскую и шел по ней до Крутого спуска, ошую ведущего к Бессарабке. Там нанимал одноконные дрожки, и за двугривенный подымался по Бибиковскому бульвару к зданию Университета. Вниз идти легче, чем вверх, и обратный путь Адольф Израилевич проделывал, пожалуй, иначе. Спускался от Университета по Караваевской (Льва Толстого) и Рогнединской к Прозоровской (Эспланадная), а от нее, через Бассейную беря налево, к началу Левашовской. И — кварталчик вверх. Едва ли здесь он пользовался извозчиком. (Можно лишь вообразить, с каким чувством последние четыре года Сонни воспринимал большевицкое переименование Левашовской в улицу какого-то Либкнехта, пристреленного в Берлине возмутителя германского спокойствия.) Все это было бы неважно, если б не знать, что на дорогу туда и обратно он тратил по большей мере час — час с четвертью. Что делал в это время, кроме того что шел и ехал?

Чем занимался профессиональный палеограф, лингвист и текстолог древнегреческих и латинских текстов? Прокручивал в голове варианты чтений и разночтений, перевода и интерпретации. Кроме того, будучи профессором, читавшим лекции по греческому языку, греческим и латинским авторам, Сонни, не желая из года в год повторять в аудитории одно и то же, пробовал найти новый угол зрения



Улица Шелковичная (б. Левашовская), № 44 и № 42.
Здания снесены в декабре 1980 г. Фото В. В. Галайбы

на стихотворения, скажем, Катулла, курс по которому он читал, как говорят, образцово, воспламеняя аудиторию сим «жестоким Ювеналом». Это происходило примерно так¹.

Скажем, по программе требуется разобрать 15-е стихотворение Катулла «Ad Aurelium» из «Carmina» («Почесушки»): «commendo tibi me ac meos amores, / Aureli. ueniam peto pudentem, / ut, si quicquam animo tuo cupisti, / quod castum expeteres et integellum, / conserues puerum mihi pudice, / non dico a populo — nihil ueremur / istos, qui in platea modo huc modo illuc / in re praetereunt sua occupati — / uerum a te metuo tuoque pene / infesto pueris bonis malisque...» Дойдя до последних строчек, переводчик

¹ См., например, опыт повествования о Катулле в общем курсе Юлиана Кулаковского: Кулаковский Ю. А. История римской литературы от начала Республики до начала Империи в конспективном изложении / Изд. подгот. А. А. Пучков. — К., 2005. — С. 124–137.



Вид на Бессарабскую площадь, Бибиковский бульвар
и здание Университета св. Владимира с Крутого спуска
Фото конца XIX в. из архива М. Б. Кальницкого

и комментатор начинают испытывать неловкость: как в аудитории выговоришь: «Нет, тебя я боюсь, мне хрен твой страшен / И дурным, и хорошим, всем опасный», — какое слово подставить (член, уд или покрепче)? И ведь это не наша аудитория, где ненорматив порой нормативнее, чем полиция нравов. Дальше — жутче: «quem tu qua lubet, ut lubet moueto / quantum uis, ubi erit foris paratum: / hunc unum excipio, ut puto, pudenter. / quod si te mala mens furorque uecors / in tantam impulerit, scelestes, culpam, / ut nostrum insidiis caput lacessas. / a tum te miserum malique fati! / quem attractis pedibus patente porta / percurrent raphanique mugilesque». Через полвека С. В. Шервинский переведет, максимально цивилизируя лексику: «В ход пускай его, где и как захочешь, / Только выглянет он, готовый к бою, / Лишь юнца моего не тронь — смиренна / Эта



Улица Дарвина (б. Ново-Левашовская). По левую руку гостиница МВД,
на месте которой располагалось в 1890–1920-х жилье семьи Сонни.
На дальнем плане — корпуса Александровской больницы. Фото 2011 г.

просьба. Но если дурь больная / До того доведет тебя, негодный, / Что посмеешь на нас закинуть сети, — / Ой! Постигнет тебя презлая участь: / Раскорячат тебя, и без помехи / Хрен воткнется в тебя и ерш вопьется». Для студенческой аудитории историко-филологического факультета рубежа XIX–XX веков, как ни странно, поэзия Катюлла и Марциала, Горация и Вергилия — ведь не только скабрзности оставили нам поэты Золотого века — пожалуй, была своеобразной лексической отдушиной посреди официальной речи правых (и левых) газет и журналов: ведь ни радио, ни телевизора несть. Античная лирика, пересыпанная речевой солью греческой площади и римского досуга, в российских университетах — не только стихи на мертвых языках, нет, на самых что ни на есть живых: в них сохранилось искреннее мужское

слово, которое дамскому ушку, даже будучи сказанным вслух, недоступно. Другой тезаурус. Катулл прожил чуть больше Лермонтова и чуть меньше Пушкина, и ему — яркому представителю римской лирики — можно было сочинить не только такое: «...res est ridicula et nimis iocosa. / deprensi modo pupulum puellae / trusantem; hunc ego, si placet Dionae, / protelo rigida mea cecidi» («...В самом деле, такой забавный случай! / Я мальчишку накрыл: молотит, вижу! / Девку. Я — да простит Диона! — тут же / Твердой палкой своей закончил дело», LVI), но и такое: «odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris. / nescio, sed fieri sentio et excrucior» («Ненависть — и любовь. Как можно их чувствовать вместе? / Как — не знаю, а сам горькую муку терплю», LXXXV). Представить себе комментирование «Петергофского праздника» или «Тени Баркова» с профессорской кафедры в державной аудитории рубежа XIX–XX веков невозможно: слишком очевиден тезаурус, а вот Катулл — «обязательный латинский автор». Недаром Адольф Сонни — мастер древнегреческой и древнеримской текстологии — собирал аудитории.

За популярность, как было замечено М. А. Гаспаровым, есть расплата: упрощенность. И вот этой-то упрощенности нет в научных трудах Сонни, скажем, — в экзегетических заметках ad Catulli (LXV, 401; XXXVII, 10; CXII). Среди российских ученых тех лет филологов-классиков такого уровня было не более дюжины, зарубежные (немецкие) филологи работы Сонни вниманием не обходили и охотно печатали. Еще бы: «знание в русском менталитете вообще не отождествляется с говорением» (В. В. Колесов) — всегда с текстом. Образование он получил достойное, выпестованное на концепции чтения древних текстов К. Лахмана¹

¹ См. о ней и задачах текстологии: Лихачёв Д. С. Текстология: На материале русской литературы X–XVII веков. — Л., 1983. — С. 8–43.



Бессарабский крытый рынок, 1910–1912 гг., архит. Г. Ю. Гай
Фото 1910-х из архива В. Е. Ясевича

и внушенное, скорее всего, К. Фр. Х. Бругманном, знаменитым текстологом и индогерманистом, слушателем которого Сонни (вместе с И. А. Лециусом) был в германских школах. Недаром студентам 1880-х тяжело было «слухати професорів Леціуса з історії грецької літератури, санскритської мови Кнауера...», а також молодого професора Сонні — професорів, що були імпортовані для боротьби з місцевим рухом і майже не володіли російською мовою. Пізніше західноєвропейська культурність і наукова порядність проф. Леціуса, Кнауера і Сонні себе виправдали, утворивши з них представників солідного складу професури історико-філологічного факультету»¹. Редкая хозяйка накроет кастрюльку ее родной крышкой: всегда воспользуется той, что под рукой. Русский язык Сонни, с детства говорившего по-немецки, приобрел киевские черты:

¹ Синявський А. Л. П. Добровольський у спогадах // Україна. — К., 1930. — № 8. — С. 114.

вместо «здесь» он употреблял «тут», однако несколько исследований Адольфа Израилевича последней четверти XIX в. были посвящены употреблению в текстах греческого слова *kake*, грязь. Это стоит зачесть стремлением к демаргинализации киевской учебной аудитории и европейскому уровню труда: маргинальному мышлению свойственны деградация языка, примат визуальности над умственностью, слияние идеологических установок и национальной идеи (любой окраски), традиционность и провинциальность. С этими напастями Сонни боролся личным примером на единственно возможной для него площадке: за кафедрой. Как и другие профессора, в Киеве он, пожалуй, оставался одним из немногих «метисно-изящных людей русско-европейского изделия» (В. В. Шульгин).

Один из учеников Сонни — В. Ф. Асмус — вспоминает об университетском сокурснике, Анатолии Волковиче, сыне знаменитого киевского врача, профессора Университета и основателя Киевского хирургического общества Н. М. Волковича. — «Способен он был на удивление, и память у него была завидная. Как окончивший классическую гимназию, он сразу записался на греческого автора и выбрал Гомера, которого слушал и сдавал у Сонни. Он очень хорошо знал греческий уже в гимназии; когда надо было готовиться по греческому автору в университете, он потратил на подготовку всего один вечер, блестяще сдал Гомера и привел Сонни в совершенное восхищение»¹. Еще бы Адольф Израилевич отнесся иначе: в Киеве — Гомер.

Был ли Киев маргинальным? Не слишком ли много я беру на себя, подчеркивая «второстепенность» родного города по сравнению с якобы немаргинальными на рубеже XIX–XX вв. Санкт-Петербургом или, скажем, Моск-

¹ Вспоминая В. Ф. Асмуса... / Сост. М. А. Абрамов, В. А. Жучков, Л. Н. Любинская. — М., 2001. — С. 242.



*Перекресток улицы Владимирской и Бибиковского бульвара
с птичьего полета, немецкая аэрофотосъемка 1918 г.
из фондов Музея истории Киева*

вой, с приторно богемным Парижем? Вроде вести речь о деградации языка, о примате визуальности над умственностью, о слиянии идеологических установок и национальных идей, о традиционности и провинциальности не приходится. Если, например, довольно бурную театральную жизнь Киева 1900–1910-х зачесть формой примата визуальности над умственностью, то, пожалуй, Киев этого времени действительно в культурном смысле заштатный городишко. Так ли это? А. И. Веселовская, специально занимавшаяся историей театральной культуры Киева, перечисляет: «У 1900–1914 роках кияни були свідками виступів Елеонори Дузе та Віри Комісаржевської, спостерігали за пластичними верлібрами Айседори Дункан, бачили новаторські постановки режисерів Макса Рейнгардта та Всеволода Мейєрхольда, були шоковані

численними “набігами” футуристів різних напрямів. Крім того, кияни не раз мали нагоду відвідати так звані Вечори нового мистецтва за участю Олександра Блока, Андрія Белого, Костянтина Бальмонта, Миколи Кульбіна та Олексія Кручоних. У номерах київських готелів “Континенталь” та “Франсуа”, де зупинялися заїжджі знаменитості, підвальчики, за фантастичним збігом обставин, наприкінці 1910-х стали притулком для знаменитого київського клубу ХЛАМ, кабаре “Кривой Джимми” і невеличкого театру “Арлекін”, у яких відбувалися доленосні зустрічі місцевих ентузіастів нового мистецтва та гастролерів із різних театральних столиць»¹. В другому месте: «Не наважуючись говорити про стрімкий символістський вир у Києві 1900-х або про значний акмеїстичний осередок, великий футуристично-кубістичний загал чи генерацію митців-експресіоністів, хочеться, однак, зазначити, що кожне з цих починань у київському мистецькому середовищі знайшло відгук. Більш того, деякі з цих модерністських течій розпочали існування саме в Києві або завдяки киянам. Але це місто переплетених доль практично ніколи не відіграло роль Мекки — місця, куда прагнули дістатися, щоб утвердитись на мистецькому Олімпі. У Києві все відбувалося, на жаль, навпаки: звідси виїжджали з новітніми свіжими ідеями, прагнучи завоювати північні та центральноєвропейські столиці, звідси нещадно емігрували, рятуючись від великого Молоху, зрештою, тут гинули і просто вмирали. <...> Більше того, здається, Київ і дотепер приречений на своєрідне трамплінне існування»².

Пожалуй, никакой город не может считаться маргинальным, пока в нем происходит нечто, причастное куль-

¹ Веселовська Г. І. Театральні перехрестя Києва 1900–1910-х: Київський театральний модернізм. — 2-е вид., випр. і доп. — К., 2007. — С. 162.

² Там же. — С. 21–22.



Крещатик и Думская площадь с птичьего полета, немецкая аэрофотосъемка 1918 г. из фондов Музея истории Киева

туре. Маргиналами могут быть обыватели, маргиналами могут быть чиновники или жандармы. Но до тех пор, пока культура (по определению С. Д. Кржижановского: «труд, обращенный на свой талант»¹) окончательно не уступит места цивилизации, пока книга, спектакль и лекция не окажутся менее значимыми, нежели модная машина и дорогое платье, маргинальность городу не угрожает. Тем не менее, стоит напомнить: «Какая жалкая иллюзия представлять себе будущее окрашенным в светлый радужный цвет, прошлое же — в цвет мрачный и черный! Какое жалкое заблуждение видеть в будущем больше реальности, чем в прошлом! Как будто бы от быстротечного времени зависят реальность бытия и качества бытия!»²

¹ Кржижановский С. Записные тетради // Кржижановский С. Собр. соч.: В 6 т. — М.; СПб., 2010. — Т. 5. — С. 419.

² Бердяев Н. А. Философия неравенства. — М., 1990. — С. 116.

Конечно, нет: и реальность, и качества бытия зависят от твоих впечатлений о бытии, от исторической обусловленности этих впечатлений, которыми загружено впечатленное извне и впечатлившееся изнутри человеческое сознание. Историк же бродит по времени, будто сомнамбула: то ли заглядывая в помойные ямы, где цветастые разводы нечистот поставляют отражение периодов небесной сферы (звезды ночью, облака днем), то ли заглядываясь на высокое, в котором, собственно, ищет оправдание своей работы. Если в таких действиях обретается *смысл* оглядки на прошлое, — историку хорошо. Он перебирает факты, будто моет посуду¹.

А что же город? В. Ф. Асмус, ребенком уезжая в 1903-м в Константиновку (Полтавская губерния), через десятилетия вспомнил о детских впечатлениях: «Перед нами на горе медленно проплывал мимо нас Киев. Я видел золоченую колокольню Софийского собора, верхушки деревьев университетского ботанического сада, крышу самого Университета, главу Владимирского собора. На повороте открывались разрезы спускавшихся вниз с горы улиц: Тарасовской и других... Открылся вид на район Большой Васильковской улицы и на квазиготическую постройку нового костела. Вдали, на горе, на высотах Печерска белели низкие стены и башни старой Киевской крепости. Приближаясь к железнодорожному мосту через Днепр, поезд еще более замедлил ход. Открылся с левой стороны высокий, уходящий вдаль берег Днепра, колокольня Лавры и здания околоварских

¹ Выразительными примерами для такого перебора в моей практике оказались книга Александра Каждана (Никита Хониат и его время. — СПб., 2005) и статья Лазаря Флейшмана о философских занятиях Б. Пастернака (Флейшман Л. От Пушкина к Пастернаку: Избр. работы по поэтике и истории русской литературы. — М., 2006. — С. 400–520).



Вид на Большую Васильковскую улицу и костел Св. Николая, архитекторы С. И. Воловский, В. В. Городецкий, 1899–1909 гг.

Фото начала 1910-х из архива В. Е. Ясевича

церквей. Вдалеке виден был цепной мост у Никольской слободки. ...Днепр в районе моста был широкий, но по середине реки тянулась отмель, в то время еще невысоко поднимавшаяся над водой. На ней росли кустарники и травы, а на берегу лежали лодки. Но вот мост остался позади, поезд подошел к станции Дарница. За нею начинался большой сосновый лес. ...Сосны росли на дюнах из чистого белого песка и подходили близко к полотну железной дороги. Поездка через лес продолжалась с полчаса, а затем пошла равнина с разбросанными по ней рощицами и отдельными деревьями¹. В 1926-м О. Мандельштам запишет, что Киев по-прежнему «самый живой город Украины», что «у города большая и живучая

¹ Вспоминая В. Ф. Асмуса... — С. 175–196.

душа. Глубоким тройным дыханием дышит украино-еврейский-русский город»¹. Дышит до сих пор.

С таких строк, честно говоря, хотел начать я книжку, и вроде получилось. В предисловии же сказать, что грецизмы передаются латиницей и курсивом, Umlaut'ы — дифтонгами, купюры <...> и конъектуры [...] принадлежат мне; что пытался собрать как можно больше свидетельств, пока архивный служба не ободрал «старателя о благе просвещения народного», будто козочка липку, — за право копирования документа: переписывать — даром, фотографировать — плата. Историографическая публикация зачастую «слепа» (текст да текст кругом), а если нет, если с картинкой, то наверняка — крадено или «за конфеты». Сознаюсь: здешние иллюстрации получены официальным путем.

И еще. В подготовке книжки оказали помощь мой сын *Никита Пучков* (переводя с немецкого), мой друг *Иван Кулинский* (держа корректуру), моя коллега *Юлия Диденко* (трансформируя старые тексты в компьютерный формат); замечания рецензентов — моих друзей — *Алексея Босенко*, *Михаила Кальницкого* и *Александра Клековкина* — споспешествовали содержательному улучшению текста. Кроме того, возможность пользоваться фотоархивом *Михаила Кальницкого* и его щедрыми научными консультациями позволили избавить текст от части фактических ошибок, книжку — от визуальной сухости. Послесловие, написанное *Александром Клековкиным* с присущим ему изяществом слога, является украшением издания. Рад возможности письменно выразить этим неравнодушным людям сердечную благодарность.

Ратоборец самодовлеющей науки



Фонтан на Софийской площади, архит. А. Я. Шиле, фото 1890-х

¹ Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. — Нью-Йорк, 1969. — Т. 3. — С. 10.



*В своих записных книжках трудно
ориентироваться. Но правда, хо-
рошие образы? Все Вац М.?*

*Классическая филология началась тогда, ког-
да человек почувствовал историческую дистанцию
между собой и предметом своего интереса — антич-
ностью. Средневековье тоже знало, любило и цени-
ло античность, но оно представляло ее целиком
по своему образу и подобию: Энея — рыцарем,
Сократа — профессором. Возрождение почувство-
вало, что здесь что-то не так, что для правильного
представления об античности недостаточно при-
вычных образов, а нужны и непривычные знания.
Эти знания и стала давать наука филология.
А за классической филологией последовали роман-
ская, германская, славянская; за филологическим
подходом к древности и средневековью — филологи-
ческий подход к культуре самого недавнего времени;
и все это оттого, что с увыстривающимся ходом
истории мы все больше вынуждены признавать
близкое по времени далеким по духу.*

Михаил Леонович ГАСПАРОВ
Записи и выписки. М., 2000, с. 98

Классическая филология в России на протяжении почти полувека была не только державно навязанной обществу, но и наукой самодовлеющей. Знание древних языков, конечно, обогащает человека, позволяет читать древний текст в оригинале, блеснуть приведенной к месту латинской апофегмой, заставив собеседника (тоже знающего по-латыни) сочувственно кивнуть, да мало ли еще зачем потребуется. Затем хотя бы, чтоб чувствовать себя чуточку выше и ощущать единство с мировой историей, другим гагарам недоступное. «В истории русской культуры классицизм не был столь интегральным явлением, как на Западе. Отсюда его большая искусственность в России, его эфемерность, ограниченность его воздействия на русское общество»¹. И поделом этому обществу.

Большевицкий переворот положил естественный конец классическому образованию, для большинства российских гимназистов тягостному и малопотребному, и тонкая прослойка гимназо-университетских студентов в несколько десятилетий разжижилась в усредненной толпе. Если до переворота гуманитарные дисциплины были сосредоточены в основном в университетах — немногих, с малым набором студентов, — при большевизме они

¹ Фролов Э. Д. Русская наука об античности: Историогр. очерки. — СПб., 1999. — С. 7.

оставались как род деятельности разве что по недосмотру рабоче-крестьянской власти¹. «Роковым было разрушение и в значительной степени даже уничтожение той социальной среды — городской интеллигенции, — которая была носителем традиций классицизма, опиравшихся на античность и ориентированных на Запад»². И этой интеллигенции поделом. М. В. Сабашников, издатель и филантроп, удивлялся в начале 1890-х, что «тридцать лет спустя после освобождения крестьянство оказалось и нищим, и невежественным, а теперь наконец готовым растерзать немногих самоотверженно спешивших ему на помощь интеллигентов... Обреченной гибели выявлялась вся русская культура, ничтожным слоем покоящаяся на таком зыбком основании»³. Чему, собственно, удивлялся великий книгодел? Неужели опыт декабризма не научил, что не стоит «отдавать фракки косцам»?

Развитие науки о древнем мире в Российской империи оборвалось на взлете: только-только после толстовской реформы средней и высшей школ начали появляться соб-

¹ В 1914 г. в десяти российских университетах (Москва, Харьков, Казань, Санкт-Петербург, Киев, Одесса, Томск, Дерпт, Варшава, Саратов) классические кафедры занимали 90–100 человек (профессоров, доцентов и приват-доцентов). Гимназические преподаватели латыни, которые не занимались ученым поиском, а только ретранслировали знание, могут быть выпущены из внимания так же, как и 130 миллионов человек остального народонаселения империи. При столь ничтожном проценте старателей, классическая филология была «полнокровной научной отраслью, служившей, по общему убеждению, фундаментом всего гуманитарного образования и гуманитарной науки» (Фролов Э. Д. Русская наука об античности... — С. 400). Кто сказал, что фундамент должен быть массивным? Он должен быть прочным.

² Фролов Э. Д. Русская наука об античности... — С. 401.

³ Сабашников М. В. Воспоминания. — М., 1988. — С. 194.

ственные научные кадры, которым Вергилий с Апулеем и Кротон с Платоном оказались интересней дворянско-салонной болтовни, и тут как тут люмпен-пролетарский сапог принудил обратить взоры долу — и надолго.

1900–1910-е годы в российских университетах, несмотря на общественное сумасшествие, вызревшее за университетскими стенами, оказались наиболее плодотворными для профессорских занятий вне аудитории. Пока студент бастует и волнуется, филолог-классик, свободный от занятий, но оставленный при жалованье, обогащает науку переводами классиков и самостоятельным ученым письмом. В 1905–1906-м, в Киеве, когда из-за общегородских неурядиц (страшного еврейского погрома, последовавшего за Манифестом 17 октября) и студенческих волнений¹ нормальное течение учебной жизни было прервано, как раз филологи-классики из Университета св. Владимира — Юлиан Кулаковский, Адольф Сонни, Витольд Клиnger, Иосиф Лециус, Вячеслав Петр — усилились между сочувственным чтением правых или либерально-демократических газет создать переводы Аммиана Марцеллина, «Стратегики» императора Никифора, сочинить этнологические тексты о Горе и Доле в народной сказке, сказочных мотивах в «Истории» Геродота, о животном в античном и современном суеверии, об античной музыке и римских кесарях. Уличные волны тех лет схлынули, смыв стыд, тексты остались.

Ныне имена людей, знающих «на древнем мире», можно перечест по пальцам нескольких рук: специализированные кафедры в университетах и отделы в институтах истории нежно дуют на тлеющие уголья юношеско-

¹ Впрочем, утверждал же С. Н. Булгаков, что слово «студент» стало нарицательным именем интеллигента в дни революции (Вехи: Сб. ст. о русской интеллигенции. — М., 1909. — С. 44).

го интереса к классическому миру, который кажется изученным вдоль и поперек, и на родных территориях, и на заморских. Ныне классическая филология — нонсенс, забавка, блажь обеспеченного человека, стремление отдать должное тому, чего нет, существующее в угоду неясным чаяниям чиновников, не слишком искушенных в потребностях современного образования. Тем не менее, составляются учебники по латыни и древнегреческому, выходят словари и пособия (иногда перекрывающие по качеству зарубежные издания аналогичного толка, где классицизм естествен, поскольку подчинен европейству¹), читаются речи Цицерона за Милона и против Катилины, и вслух за школьной партой переводятся. И все-таки, подлинными исследователями перевелись, древние языки учатся со скрипом. Сейчас, как писала Олеся Николаева в пересыпанных инфинитивами «Испанских письмах», —

Отдают в классические гимназии — грызть гранит,
сокрушать латынь,
узнавать, кто такие стоики,
читать Писанье,
учить на нескольких языках «Отче наш» и «Господь простит»,
выправлять генотип золотую печатью знания.
То есть попросту — выходить в дворяне испанские,
в верхний слой.
Называться «новой элитой», ходить в европейских шляпах.
Презирать отцов — за плебейство, за дурновкусие, за дурной тон,
неправильные ударенья и — запах, запах!..

Преподаватель латыни и древнегреческого все равно

¹ См., например, недавние высокостатусные работы киевского филолога-классика Петра Махлина: *Махлин П. Я. Латинский язык в таблицах: Справочник по грамматике.* — М., 2008; *Махлин П. Я., Титарчук Ю. А. Латинский язык за 60 часов: Самоучитель.* — М., 2009.



Здание Императорского университета св. Владимира в Киеве, архит. В. И. Беретти, 1837–1843 гг., фото середины 1880-х

чудак, и в массовом числе не производится: по-прежнему времена не те. Конечно, ныне тоже эпоха упадка классической филологии, уровень подготовки и общая эрудиция ученых, сосредоточенных преимущественно на ретрансляции старого знания, оставляют желать лучшего. Подняться к дореволюционному уровню образованности едва ли получится, но посмотреть и повосхищаться мы — услужливые дегустаторы — пока можем. Особой надобности в этой кастовой дисциплине нет, переводы основного массива античной литературы уже комментировано (и не единожды) выполнены, а самый этот массив может уместиться на одной CD болванке в 700 Мб, даже не заполнив ее до отказа. Э. Д. Фролов, питерский историк античности и историограф, выделил в эпоху расцвета российской науки о классической древности — с 1860-х до 1920-х — четыре направления: *историко-филологическое* (Ф. Ф. Соколов, В. В. Латышев, С. А. Жебелёв итд),

культурно-историческое (Ф. Г. Мищенко, В. И. Модестов, Ф. Ф. Зелинский, Ю. А. Кулаковский итд), *социально-политическое* (В. П. Бузескул, Э. Д. Гримм итд) и *социально-экономическое* (И. М. Гревс, М. И. Ростовцев, М. М. Хвостов итд)¹. Наш сегодняшний герой, Адольф Сонни, топтал тропку, конечно, историко-филологическую и, утомившись, шагнул на брусчатку этнографического бульварчика, замощенного А. Н. Веселовским, А. А. Потебней и Вс. Ф. Миллером.

Вообщето-то, чудачки, которым в динамичные времена бывали интересны нединамичные древние тексты и суета вокруг них, время от времени появляются. Поглядим на дело и жизнь одного из таких чудачков эпохи расцвета и заката отечественной классической филологии: может, блеснет блесна свежей рыбкой. Что мешает?

Имя Адольфа Израилевича Сонни (17.01.1861, Лейпциг — 8.03.1922, Киев)² можно встретить как в летописях истории Императорского университета св. Владимира, так и в синодиках российской классической филологии рубежа XIX–XX вв.: в первых — чаще, во вторых — реже. Причем, почти через запятую с именами других лиц, в историографических сочинениях упоминаемых как бы автоматически.

Творчество и жизнь Сонни — одного из немногих докторов греческой словесности в Российской империи — не изучены даже поверхностно. Исследователи ограничиваются, как правило, упоминанием имени Адольфа Израилевича в ряду иных имен филологов-классиков, мол, и такой был³.

¹ Фролов Э. Д. Русская наука об античности... — С. 399.

² Оригиналы опубликованных здесь портретов профессоров А. И. Сонни, В. П. Кайндера и И. А. Лециуса хранятся в ИР НБУВ, фонд С. И. Маслова (Ф. XXXIII, д. 4193, л. 1–3).



Адольф Израилевич Сонни,
Киев, фото 1880-х

Например: «До Великої Жовтневої соціалістичної революції, — отмечал в 1946 г. А. П. Маркевич, — у Київському університеті працювало чимало видатних філологів-класиків (В. І. Модестов, І. В. Цвєтаєв, Ф. Г. Міщенко, Ю. А. Кулаковський, А. І. Сонні, В. П. Клінгер та ін.), і в ньому систематично проводилося підготування майбутніх спеціалістів з латинської та старогрецької мов»¹. Александр Иустинович Малеин, библиограф и умница, в начале XX в. перечисляя филологов-классиков университетских имперских городов Юга и глядя шире, указывал: что

³ (К стр. 28) Недавняя моя публикация предварительных материалов о Сонни на русскоязычной версии сайта «Википедия» (август 2009 г.), сמה надеяться, нарушила устойчивость этой фигуры умолчания.

¹ Маркевич О. П. Наука і наукові працівники в Київському державному університеті за 112 років його існування (1834–1946) // Наук. зап. Київ. держ. ун-ту. — К., 1946. — Т. V. — Вип. 1. — С. 23.

в Харькове трудятся И. В. Нетушил, который первым дал на русском языке самостоятельные научные пособия по исторической грамматике латинского языка и римских государственных древностей, и В. П. Бузескул, автор нескольких трудов по древнегреческой истории. В Одессе профессорствуют А. Ф. Воеводский, написавший ценные исследования по мифологии и Гомеру, А. Н. Деревицкий и Э. Р. фон Штерн, занимающиеся эллинской историей и достопамятностями на берегу Черного моря. В Киеве профессор Юлиан Кулаковский много занимался римской историей и эпиграфикой, а ныне исследует керченские древности; А. И. Сонни защитил докторскую диссертацию о Дионе Хрисостоме¹. И вправду, в последнее десятилетие XIX и в первое двадцатилетие XX вв. именно Юлиан Кулаковский² и Адольф Сонни были са-

¹ Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. — СПб., 1899. — Т. XXVIII: Россия. — С. 816.

² См.: Пучков А. А. Юлиан Кулаковский и его время: Из истории антиковедения и византистики в России. — 2-е изд., перераб., исправ. и доп. — СПб., 2004 (1-е изд. — К., 2000); Пучков А. А. Юлиан Кулаковский: профессор и лекции // Кулаковский Ю. А. История римской литературы от начала Республики до начала Империи в конспективном изложении / Изд. подгот. А. А. Пучков. — К., 2005. — С. V–LXVI; Пучков А. А. Юлиан Кулаковский и его исследование тектоники античного мировоззрения // Кулаковский Ю. А. Эсхатология и эпикуреизм в античном мире: Избр. работы / Изд. подгот. А. А. Пучков. — СПб., 2002. — С. 5–44; Пучков А. А. Юлиан Кулаковский и его «История Византии» в пространстве российско-го византиноведения: Последний классик летописного жанра и культура жанра // Кулаковский Ю. А. История Византии / [Науч. ред. А. А. Пучков]: В 3 т. — Изд. 3-е, исправ. и доп. — СПб., 2003. — С. 5–48; Пучков А. А. Юлиан Кулаковский и его конструирование мифологии Древней Греции // Суч. проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. ІПСМ АМУ. — К., 2009. — Вип. 6. — С. 369–384, и др.



Адольф Израилевич Сонни,
Киев, фото 1920 г.

мыми заметными филологами-классиками и педагогами Университета св. Владимира, научными сочинениями выходя на европейскую площадь. Но тогда это было привычным делом, и мало кого удивляло. Э. Д. Фролов в фундаментальном исследовании «Русская наука об античности» ограничился касательно этих лиц таким замечанием: «Наставниками Ростовцева в Киевском университете были хорошие специалисты: классики Ю. А. Кулаковский и А. И. Сонни (первый скорее — историк, а второй — филолог чистой воды, занимавшийся, в частности, Дионом Хрисостомом)»¹...

Такое состояние посмертной биографии Сонни неудивительно: классическая филология настолько узкая область научного интереса, что за те почти девяносто лет, что минули со времени его кончины, до его дел просто

¹ Фролов Э. Д. Русская наука об античности... — С. 354.

не успел добраться внимательный глаз исследователя.

Самый факт упоминания имени Сонни в разрисованном выше контексте позволяет поставить его в ряд не только профессоров-классиков киевского университета, но и в ряд немногочисленных профессоров-классиков Российской империи 1880–1910-х. После его смерти, последовавший в марте 1922 г., не напечатали даже строчки некролога, и долгое время не была известна дата смерти. На мой взгляд, эту лакуну следует заполнить, если угодно, приурочив ее к полуторастолетию со дня его рождения: по традиции заменив несостоявшийся в свою бытность некролог исследованием.

Что краше прочего свидетельствует о личности ученого, как не его публичное чествование по случаю какого-нибудь юбилея, даже с учетом всех патетических моментов, которые этому событию сопутствуют? Начну с цитаты из сообщения в либерально-демократической газете «Киевская мысль» от 2.02.1914, незадолго до начала Первой мировой.

«1 февраля, в XI аудитории Университета историко-филологический факультет чествовал заслуженного ординарного профессора по кафедре классической филологии А. И. Сонни по случаю 30-летия его преподавательской деятельности. На чествование собрались почти все профессора историко-филологического факультета с и. о. декана проф. Ю. А. Кулаковским во главе и студенты того же факультета. Проф. Кулаковский приветствовал юбиляра от имени членов факультета, после чего участники семинария русской филологии, студенты и лица, оставленные при университете, поднесли юбиляру адрес следующего содержания:

«Глубокоуважаемый Адольф Израилевич! На Вашей юбилейной лекции мы, бывшие и настоящие слушатели Ваши, рады приветствовать Вас с днем 30-летия неутомимого служения филологической науке и проповеди принципов ее сре-



*Юлиан Андреевич
Кулаковский,
Киев, фото 1888 г.*

ди учащейся молодежи. Мы не можем быть судьями Ваших ученых заслуг, но мы знаем, что работы Ваши никогда не прерываются, а иногда из области классической филологии переносятся в мир наших интересов, освещая генезис загадочных явлений старинной русской литературы. Вашим вдохновенным лекциям мы обязаны знакомством с крупнейшими явлениями греческой литературы, с которою древнерусская связана узами хотя и отдаленной преемственности. Под Вашим руководством мы усваивали принципы филологического метода в применении к истолкованию римских авторов, — за все это приносим Вам сердечную и искреннюю благодарность. В лице Вашем, глубокоуважаемый А[дольф] И[зраилевич], мы приветствуем также истинного гуманиста, верного последователя самодовлеющей науки, представителя подлинного благородного академизма, существовавшего в дни Вашей юности в университетах. Как гуманист, влюбленный в науку и в прекрасное, завещанное нам античностью, Вы всегда вы-

соко несли знамя науки, не делая ее орудием посторонних целей, — не старались из молодежи, шедшей к источникам знания, сделать слепую толпу, покорную модным лозунгам текущего политического момента.

Мы не вошли еще в кипящую пучину житейской борьбы противоречивых эгоистических стремлений, но уже издали нам видно, как легко потонуть в грязном водовороте жизни; вот почему мы особенно ценим ту гордую независимость и благородство мысли, которое всегда чувствовали в Вас. Счастливые, что имели во время нашего пребывания в университете такого наставника, мы позволяем себе выразить пожелание, чтобы идущие за нами поколения студентов не лишены были Вашего руководства в той области, где дороже всего чувствуется значение истинного просветительского гуманизма и строгой научной филологической школы”.

Аналогичный адрес был поднесен юбиляру и от имени студентов историко-филологического факультета. Приветствия и адреса были покрыты долго не смолкавшими рукоплесканиями. Растроганный юбиляр ответил блестящей, глубоко прочувствованной речью. С грустью оратор констатировал, что он не видит себе преемника в Киевском университете, так как достойнейший кандидат на кафедру классической филологии (прив.-доц. [В. П.] Клинггер) оказался устранным вследствие неутверждения его министром Л. А. Кассо. При этом А. И. Сонни заплакал»¹.

¹ Киевская мысль. — 1914. — № 33. — 2 февр. — С. 2. История с неутверждением В. П. Клинггера в должности экстраординарного профессора Университета по разным причинам (в том числе и по причине его польского происхождения) в то время возмущала разум киевской интеллигенции и получила резонанс в городских газетах. После смерти Л. А. Кассо Клинггера все-таки утвердили в означенной должности, и он до начала 1920-х профессорствовал на кафедре, входил в состав Совета Университета. Вскоре, впрочем, выехал в Польшу, и до 1962-го трудился профессором



А. И. Сонни и В. П. Клинггер,
Киев, фото 1920 г.

Действительно, именно Витольд Павлович Клинггер (1875–1962) мог в то время заместить Сонни на профессорской должности преподавателя греческой словесности как равнодушный ратоборец в этой области знания и педагогики. Его труд «Животное в античном и современном суеверии» (1911) до сих пор является образцом изучения культурологических вопросов античного мира при помощи языковых данных; в то время это было одно из первых сочинений, заложивших традицию, подхваченную и продолженную О. М. Фрейденберг, И. Г. Франк-Каменецким, позднее В. В. Ивановым, Ю. Л. Мосенкисом и проч. Наставником Клинггера был Сонни, не в последнюю очередь исследовавший этнографо-лингвистические вопросы древнерусских сказаний (см.: «Горе и Доля в народной сказке», 1906), чуть отодвинувшись от классико-филологической проблематики.

Адольф Сонни родился 17 января (4 января по ст. ст.)

классической филологии сначала Варшавского, затем Познаньского университетов. Тихо почил в возрасте 87 лет.

1861 г. в Лейпциге в семье лютеранского пастора. Еврей по происхождению, был крещен по евангелически-лютеранскому обряду, что в условиях российского антисемитизма сделало возможным получение высшего образования и постепенное продвижение по служебной лестничке до чина действительного статского советника (гражданского генерал-майора) и заслуженного ординарного профессора.

Учеба. Высшее образование Сонни получил в Русской филологической семинарии при Лейпцигском университете (в 1884–1890 гг. — Русский филологический институт), в которой тогда готовили учителей древних языков для российских гимназий.

Это странное для нашего уха учебное заведение было открыто в 1873 г. по инициативе А. И. Георгиевского, тогдашнего спешника министра народного просвещения графа Д. А. Толстого по «классицизированию невежества» в наших гимназиях. От Лейпцигского университета с такой же инициативой выступил именитый Фридрих Ричль, основатель и редактор «*Rheinisches Museum fuer Philologie*» который и стал руководителем Семинарии (после его смерти, в 1876-м директором становится не менее именитый филолог-классик Юстус Г. Липсиус).

Стипендиатами могли быть молодые люди, которые выбирались доверенными от Министерства народного просвещения лицами из числа как «природных русских и уроженцев Прибалтийского края, изучающих русский язык, так и из западных славян и даже уроженцев Германии, имевших случай изучить русский язык или какое-либо из славянских наречий». Первоначально курс обучения составлял два года, затем три; по окончании учебы стипендиаты должны были отслужить за полученную ими стипендию учителями древних языков в российских гимназиях и прогимназиях: то есть соответственно пона-

чалу четыре, затем шесть лет. Невзирая на то, что учеба продолжалась три года, выпускники приравнялись к окончившим университет и могли сразу после учебы сдавать экзамены на степень магистра. Семинария подвергалась разным нападкам (например, со стороны киевского профессора Ф. Г. Мищенко), мол, стипендиаты плохо знают по-русски, учебные планы отличаются от университетских итд, и к концу 1880-х потребность в этом заведении исчезла: в 1890-м его ликвидировали¹. Имея практическую цель «восполнить недостаток в хорошо подготовленных преподавателях древних языков для средних и высших школ» в Российской империи, Семинария, как это обычно бывает, воспитала не только практиков, но и теоретиков античных дел: имена И. И. Луньяка, Ф. Ф. Зелинского, Э. Р. фон Штерна, Л. А. Георгиевского, И. А. Микша (учитель А. Ф. Лосева) можно оставить без комментариев. А. И. Сонни как уроженец Германии учился в Семинарии в 1879–1882 гг.; отработать стипендию съездил в Петербург.

Первая ученая статья и педслужба. С 1 июля 1882 г. 21-лений Сонни начинает педагогическую деятельность в петербургской Пятой гимназии, где изъясняет древнегреческий и латынь². Потом, два года пробыв в традиционной заграничной командировке³ (а с 1.12.1885 по 1.05.1886

¹ За время существования — 1873–1890 гг. — Русскую филологическую семинарию закончили 113 стипендиатов. Из них 81 были русские, 29 австрийцы, трое немцев. По национальному признаку: 49 русских, 20 чехов, 36 немцев, 5 поляков, 5 литовцев, 2 словаков, 3 хорвата, один финн и один серб. См.: Максимова А. Б., Алмазова Н. С. «Русская филологическая семинария» в Лейпциге в интеллектуальном пространстве России и Германии // Межкультурный диалог в историческом контексте. — М., 2003. — С. 99–102 (www.igh.ru/index.html).

² Здесь и далее даты до 1918 г. приводятся по старому стилю.

почему-то побывав «в отставке», возможно, по болезни), 6 июня 1887 г. защищает в Дерптском (ныне — Тартуский) университете диссертацию «De Massiliensium rebus quaestiones [О массилийских спорных вещах]» на степень магистра древнеклассической филологии (наш кандидат филологических наук по специальности 10.02.14 — классические языки)¹.

Еще будучи в командировке в Германии, 25-летний Сонни опубликовал статью — первую в не слишком длинном перечне его публикаций, — посвященную теме текстовых корреляций между Вергилием и Юстиновой «Эпитомой Помпея Трога». К этой статье 1886 г. до сих пор обращаются исследователи темы, дивясь, что в докомпьютерную эпоху поиск текстовых заимствований в среде античных (здесь — латинских) сочинений может дать столь ощутимый результат, каким он получился у Сонни. Что здесь удивительного: у Сонни была хорошая память, интерес к текстам Вергилия и Юстина, и проведение параллелей большого труда, пожалуй, не составило. Впрочем, вот эти современные воздыхатели, и виднейший среди них Джон Ярдли.

Дж. Ярдли и Вальдемар Геккель из Оксфорда: «В статье, которая была написана век назад, Адольф

³ (К стр. 37) Высочайшим приказом № 2 от 3.02.1883 Сонни был командирован за границу с ученой целью на два года (ЖМНП. — 1883. — Апр. — Правит. распоряжения. — С. 51).

¹ Рецензию Фр. Кауэра на книгу Сонни о массилийцах см. ниже, среди текстов Сонни (стр. 97–104). *Cauer Fr. Adolf Sonny, De Massiliensium rebus quaestiones. Dissertatio historica. Dorpat 1887, Karow. 110 S. // Berliner Philologische Wochenschrift. — 1889. — № 12. — 23 Maerz. — Stb 380–382.* На диссертацию Сонни обнаружена ссылка в нумизматической статье: *Reynaud G. E. Un trésor de monnaies Massaliètes du V^e siècle (Pl. VI–IX) // Revue numismatique. — 1983. — 6^e ser. — T. XXV. — P. 41.*

Сонни обнаружил некоторое количество параллелей между Вергилием и «Эпитомой» Юстина, и пока не все эти примеры были исчерпаны, он убедительно демонстрировал в этом вопросе влияние Вергилия. Вывод Сонни, что Трог находился под впечатлением или достаточно пользовался Вергилием, было заметно у Юстина по словесной организации фрагментов. Намного позже Сонни нашел себе верного помощника в лице Ф. Р. Д. Гудьера (Goodyear), который подтвердил не только Вергилиево, но и Овидиево влияние на Трога. Гудьеровские замечания базировались на том же, на чем и у Сонни, — предположении, что работа была антологией Трога с добавлением небольшого собственного материала или переделкой, принадлежащей позднему автору, и потому не может вызывать восхищения у филолога-классика¹. Из Ярдли: «В статье, названной “Вергилий и Трог”, изданной больше чем столетие назад в “*Rheinisches Museum*”, Адольф Сонни убедительно продемонстрировал, что так называемая Юстинова “Эпитама Помпея Трога” содержит большое число реминисценций из Вергилия. Не все примеры Сонни, честно говоря, убедительны. Взять хотя бы два первых с начала его списка... <следуют конкретные примеры> ...Некоторые из примеров Сонни, однако, очевидно более убедительны, чем он, пожалуй, мог предположить, поскольку использование латинского диска РНІ сейчас покажет нам, что некоторые из них фактически исчерпываются Юстином и Вергилием². И в другом месте: «Влияние Вергилия на “Эпиту” было замечено фи-

¹ *Justin. Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus. Vol. I, Books 11/12: Alexander the Great / Transl. and append. by J. C. Yardley; Comment. by W. Heckel. — Oxford, 1997. — P. 14.*

² *Yardley J. C. Justin, Trogus, and the “Aetna” // Phoenix. — 1998. — Vol. 52. — № 1/2. — P. 103.*

логолами еще перед тем, как Адольф Сонни опубликовал статью “Вергилий и Трог” в “*Rheinisches Museum fuer Philologie*” в 1886 г. (Гроновиус, например, ссылаясь на его множественные параллели из Вергилия в своих комментариях к Вергилию). Но Сонни был первым, кто рассмотрел вопрос систематически и окончательно изъяснил вопрос о влиянии. Сонни был убежден, что это влияние было сконцентрировано Трогом на Вергилии и что это до сих пор оказывалось очевидным в эпитоме Юстина. Веком позже Гудбер призвал на помощь доводы Сонни и присовокупил их к своим параллелям, получив целое. Здесь я перечисляю эти параллели — не все, с которыми я соглашаюсь, — вслед за теми, которые я обнаружил самостоятельно (здесь нет тех, что принадлежат Сонни и Гудберу). Электронный поиск для Сонни и Гудбера был невозможен, и я указываю, где диск [РН] подтверждает (опровергает) их правоту...»¹ итд.

После защиты 26-летний магистр перебирается из Питера в Киев, и с 1 июля 1887 г. начинает службу в Императорском университете св. Владимира, читая лекции по кафедре классической филологии в качестве приват-доцента (с вознаграждением 1200 рублей в год). 12 сентября читает положенную в таких случаях вступительную лекцию: «Александризм и его влияние на римскую литературу». Через полтора года усердных занятий, 2 марта 1889-го, по Высочайшему повелению назначается и. о. экстраординарного профессора по той же кафедре. Профессор в возрасте 28 лет — норма для талантливого человека даже в XIX веке.

¹ Yardley J. C. Justin and Pompeius Trogus: A Study of the Language of Justin's *Epitome* of Trogus. — Toronto; Buffalo; L., 2003. — P. 189 (имя А. И. Сонни упоминается на стр. 14, 16, 34, 36, 52, 66, 84, 91, 97, 114, 126, 188–203).



Корпуса Университета и ботсад с птичьего полета, немецкая аэрофотосъемка 1918 г. из фондов Музея истории Киева

Через десятилетие, 20.05.1897 в Санкт-Петербургском университете 37-летний Сонни защитил диссертацию «*Ad Dionem Chrisostomum analecta*» [«К ошметкам Диона Хрисостома»], которая, как и магистерская, была написана по-латыни, и был удостоен ученой степени доктора греческой словесности. Через два месяца, 26 июля, Высочайшим указом по гражданскому ведомству (№ 61) назначен ординарным профессором Университета св. Владимира, и большего, кажется, не желал. 21 декабря 1898 г. Высочайшим указом № 90 утвержден в классном полковничьем чине статского советника. В 1907-м получает командировку за границу «с научной целью» на время летних вакансий. 1-го февраля 1909-го, после выслуги 25 лет по учебной части (по Уставу 1884 г.), был оставлен в должности еще на пятилетку (предложение министра народного просвещения № 4382), 20-го марта был командирован от Универ-

ситета на Международный археологический конгресс в Африку — в Каир. 1-го января 1911 г. «за отличие» был утвержден в чине действительного статского советника, дававшего его отпрыскам право потомственного дворянства. 1-го июля 1912 г. министром народного просвещения был утвержден в звании заслуженного ординарного профессора по выслуге им 25 лет в преподавательской должности. С 12.02.1914 товарищ министра просвещения назначил Сонни пенсию за 30-летнюю беспорочную службу в размере 3000 рублей в год. Заболев сыпным тифом — хворью, выкашивавшей не только киевское население, — на 62 году 8 марта 1922 г. Сонни отошел в лучший мир. Адольф Израилевич отмечен орденами Св. Владимира III («за отменно-беспорочную службу», 1914) и IV (1908) ст., Св. Анны II (1904) и III (1896) ст., полным бантом Св. Станислава (1891, 1900, 1917) со звездой «*Praemirando incitatus*»¹: обычный набор развесочных бирюлек, которые получал время от времени по чину чиновник.

В течение многих лет Сонни был деканом историко-филологического отделения и профессором кафедры классической филологии Высших женских курсов (1906–1918 гг.), читал курс истории греческой литературы на историко-литературном отделении Вечерних высших женских курсов Аделаиды Жекулиной (с декабря 1905-го; ныне: ул. Артема, 27), возглавлял Киевское отделение Общества классической филологии и педагогики.

Жена. Супругой Адольфа Сонни была Марфа Александровна Фидлер, дочь статского советника А. Г. Фидлера. Венчание состоялось 29.06.1891 в Выборге, в Преображенском соборе, по чину православной церкви². В то время формальное разрешение преподавателю Университета



Софийская и Михайловская площади с птичьего полета, немецкая аэрофотосъемка 1918 г. из фондов Музея истории Киева

¹ ГАГК. Ф. 16, оп. 465, д. 4816, л. 1–10.

² Там же. Оп. 330, л. 7 об.

на брак должен был подписывать ректор. Тридцатилетний профессор 21.06.1891 обращается к Ф. Я. Фортинскому с прошением: «Желая вступить в брак с девицею Марфою Александровною Фидлер, имею честь просить Ваше Превосходительство выдать мне удостоверение в том, что препятствий со стороны университетского начальства не имеется»¹. В тот же день ректор выдал просимое: «Дано сие и. о. экстраординарного профессора Университета св. Владимира Адольфу Израилевичу Сонни согласно его просьбе в том, что, как видно из послужного его списка, он, г. Сонни, вероисповедания евангелическо-лютеранского, родился 4 января 1861 года, холост, а потому на вступление его в брак препятствий не встречается. Гербовый сбор уплачен»².

В следующем году, 9 мая, у Марфы и Адольфа родилась дочь Ада, 7.02.1895 — сын Евгений, 6.02.1900 — дочь Нина, 2.06.1902 — сын Георгий³. Сонни съехал с Ново-Елизаветинской, 23 (дом С. М. Волочениновой, на его месте нынче другое здание), где жил с момента переезда в Киев, и с 1891 г. его семья располагалась в наследственном доме жены по улице Левашовской (Шелковичная), 40. Номер дома по причине перенумерации построек

¹ Там же. Оп. 330, л. 6.

² Там же. Л. 7.

³ А. И. Соболевский 4.04.1921 писал В. Н. Бенешевичу (русскому византинисту, члену-корреспонденту РАН), составлявшему «Скорбную летопись» о гибели ученых на протяжении 1917–1921 гг.: «От приезжего киевлянина я узнал, что ... А. И. Сонни жив и живет в Киеве; умер его сын» (*Медведев И. П.* В. Н. Бенешевич: судьба ученого, судьба архива // *Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге* / Под ред. И. П. Медведева. — СПб., 1995. — С. 350). О котором из двух сыновей Сонни — Евгении или Георгии — идет речь, установить не удалось. См.: *Бенешевич В. Н.* Скорбная летопись // *Рус. ист. ж.-л.* — 1921. — Кн. 7. — С. 229–261.



Здание Высших женских курсов (до 1913 г.) на ул. Фундуклеевской, 51, фото 1900-х из архива М. Б. Кальницкого



Владимир Николаевич Бенешевич

на Левашовской менялся трижды (в адресных книгах указываются номера и 32, и 34), последний раз в 1910-м¹.

Докторская. Вероятно, диссертацию, посвященную греческому ритору Диону Хрисостому, Сонни подал в столичный университет в конце 1896-го — начале 1897-го.

Внутренним рецензентом по диссертации выступил Виктор Карлович Эрнштедт (1854–1902), профессор Санкт-Петербургского университета, палеограф, одаренный своеобразным талантом критики античных и средневековых греческих текстов, полагавший необходимым изучать древние тексты на основе их рукописного предания. «В этом смысле он был в русской науке новатором и первопроходцем» (И. В. Кукулина). Сонни, нужно думать, был в известном смысле последователем Эрнштедта,

¹ Информация о зданиях №№ 44 и 42 по ул. Шелковичной, приведенная мною в издании В. В. Галайбы «Фотоспомин: Київ, якого немає (Анонований альбом світлин 1977–1988 років)» (Відп. ред. А. Б. Беломесечев, А. О. Пучков, О. С. Червінський. — К., 2000. — С. 380–381), ошибочна. На эту досадную оплошность любезно указал М. Б. Кальницький.



Виктор Карлович Эрнштедт

а что выделялся научной тщательностью и был большим знатоком в деле критики и разбора текстов, свидетельствует уже его магистерская работа о массилийцах.

Поскольку докторская диссертация была посвящена критике текста (герменевтике) Диона Хрисостома, Эрнштедт отметил в отзыве (рукопись на 8 стр. сохранилась в его питерском архиве), что автором изучены не только научная литература вопроса и опубликованные источники, но и более тридцати списков рукописей.

И. В. Кукулина, обследовавшая архивный фонд Эрнштедта, пишет:

«Вывод, к которому пришел киевский профессор: для установления текста Диона только четыре рукописи имеют самостоятельное значение. В отзыве описана горестная история: диссертанту для окончания начатого дела предстояла поездка в Рим, Париж и Лейден, но тут вышло критическое издание текста Диона под редакцией Г. Арнима¹ (I том — Берлин,

¹ Имеется в виду: *Dionis Prusaensis, quem vocant Chrysostomum*, Opera omnia / Ed. H. von Arnim. — Berlin, 1893–1896. — Bd 1–2 (перепеч. 1962 г.).

1893; II том — 1896), предвосхитившее результаты многолетней работы исследователя. Он, однако, успел тезисно изложить главные выводы в “*Neue Jahrbuecher*”. Конкретный его вывод об основной рукописи Urbin., 124 был, хотя и с оговорками, принят Арнимом, и рецензент усмотрел в этом положении работы заслугу диссертанта.

В отзыве дана характеристика диссертации по главам, примечания относительно edition princeps, а также по описанию классов рукописей в связи со спорами с Арнимом (последний разделил рукописи на два класса, Сонни же — на три, хотя раньше тоже делил на два). Относительно схолий Арефы¹ В. К. Ернштедт заметил, что для критики текста они особого значения не имеют, но напечатать их раз целиком стоит, хотя бы из-за имени их автора, а тем более потому, что они трудночитаемые.

Диссертант показал такое глубокое знание научной литературы и текста Диона, писал рецензент, что ему поручили редакцию нового издания Диона у Тойбнера². Окончательный вывод отзыва: рекомендовать факультету допустить диссертацию к защите. После успешной защиты А. Сонни стал доктором греческой словесности³.

Георгий Вернадский, сын В. И. Вернадского, имени-

¹ Арефа — архиепископ Кесарии Каппадокийской (IX–X вв.), ученик Фотия. Известны его схолии (пометки на полях рукописи) к сочинениям Платона, Лукиана, Евклида, Евсевия, Диона Хрисостома, апологиям Татиана и Афинагора (последние две сохранились лишь в тексте схолий Арефы).

² Тойбнеровское издание Диона в редакции А. И. Сонни нами не обнаружено. Одно из новейших изданий в серии *Bibliotheca Teubneriana* (*Dionis Chrysostomi Orationes*. Lipsiae, 1915–1919) вышло под редакцией Г. де Бюде.

³ Кукулина И. В. В. К. Ернштедт: Обзор научного рукописного наследия // Рукописное наследие русских византистов в архивах Санкт-Петербурга / Под ред. И. П. Медведева. — СПб., 1999. — С. 106.



Иосиф Андреевич Лециус,
Киев, фото 1912 г.

тый историк, со слов Михаила Ивановича Ростовцева (1870–1952), который учился в 1888–1890 гг. в Университете св. Владимира на историко-филологическом факультете, писал, что Ростовцев, учителями которого по классической филологии были Сонни, Лециус и Кулаковский, характеризовал их как «приличных, но тусклых ученых»¹. Беря во внимание взбалмошный характер Ростовцева и его по временам невыдержанные оценки коллег по цеху (в частности, личности Кулаковского и его археологических исследований керченских катакомб), этот отзыв вполне можно оставить без внимания: спрашивал же Козьма Прутков, что важнее для человека — Солнце или Луна? «Ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло; а месяц — ночью». — К тому же, современный биограф Ростовцева В. Ю. Зуев спасительно для своего колкого персонажа замечает, что воспоминания Ростовцева о первых учителях могли обесцветиться

¹ Вернадский Г. В. М. И. Ростовцев (к шестидесятилетию его) // *Seminarium Kondakovianum*. — Prague, 1931. — Vol. 4. — S. 20.

к концу 1920-х¹. Следует полагать, спокойный, уравновешенный характер Адольфа Израилевича никак не мог быть впору холерическому, взрывному (как считали современники) характеру Михаила Ивановича. Так вот, в 1897-м Ростовцев в письме из Парижа С. А. Жебелёву писал о Сонни: «Был здесь на днях Сонни, попрыгал три дня, оставил след в моей комнате в виде своей [докторской] диссертации, и уехал в Россию. Очень милый человек, но скучен немилосердно»². 27-летний Ростовцев, зимой 1896/97 живя в Париже заграничным научным пансионером и не будучи ни специалистом по палеографии, ни магистром, не мог быть сколько-нибудь весомым собеседником своего университетского наставника по столь узкоспециальному вопросу. Этим его отзывом дело, пожалуй, и кончилось³. Важнее, что в 1911-м Адольф Бонкёффер в книге «Epiktet und das neue Testament» вспомнит об этой книге Сонни теплым словом⁴.

Здесь нужно сказать вот о чем: Дион Хрисостом, один из троих виднейших представителей т. наз. Второй софистики (вместе с Элием Аристидом и Максимом Тирским), был кинический писатель, аттикист (сиречь сознательный подражатель языку древних сочините-

¹ Зуев В. Ю. М. И. Ростовцев. Годы в России: Биографическая хроника // Скифский роман / Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина. — М., 1997. — С. 51.

² Письма С. А. Жебелёву, Ф. И. Успенскому и Н. Я. Марру // Скифский роман. — С. 392.

³ В публикациях первого, набросочного варианта статьи о Сонни, относящихся к началу—середине 2000-х, М. И. Ростовцев неосмотрительно был назван мною одним из официальных оппонентов по докторской диссертации Адольфа Израилевича.

⁴ См.: Bonhoeffer Ad. Epiktet und das neue Testament. — Berlin, 1965. — S. 93.



Вид на улицу Владимирскую, Георгиевскую церковь и Софийский собор и Софийскую площадь, фото 1900-х из архива В. Е. Ясевича



Здание Первой мужской классической гимназии на Библиковском бульваре, архит. А. В. Беретти, 1850–1852 гг., фото из архива В. Е. Ясевича

лей)¹. Я понимаю, что нельзя отождествлять ученого с предметом его научного интереса, и все-таки касательно Сонни, которого можно счесть эдаким представителем «городского кинизма конца XIX века», хочется заметить, процитировав И. М. Нахова: «в течение многовековой истории кинизма ... под его знамена стекались бедняки и недовольные — от раба до вчерашнего благополучного рабовладельца. Все они вносили свою лепту в теорию, не утруждая себя заботой о логичности

¹ См. некоторые русскоязычные переводы его текстов: *Дион Хрисостом*. [Речи.] VII. Эвбейская речь, или Охотник. VIII. Диоген, или О доблести. XXXVI. Борисфенитская речь, произнесенная Дионом на его родине / Пер. М. Е. Грабарь-Пассек // Поздняя греческая проза / Сост., вст. ст. и прим. С. В. Поляковой. — М., 1960. — С. 63–97; *Дион Хрисостом*. [Речи.] VI. Диоген, или О тирании / Пер. И. М. Нахова. IX. О состязаниях (Истмийская речь) / Пер. М. Е. Грабарь-Пассек. X. Диоген, или О слугах / Пер. М. Е. Грабарь-Пассек и И. М. Нахова // Антология кинизма. — М., 1984. — С. 270–279, 285–289, 289–296; *Дион Хрисостом*. [Речи.] X. Диоген, или О слугах. XII. Олимпийская речь. XVIII. Об упражнении в искусстве речи / Пер. М. Е. Грабарь-Пассек // Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства / Отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек. — М., 1964. — С. 18–22, 22–32, 10–15; *Дион Хрисостом*. [Речи.] XI. Троянская речь в защиту того, что Илион взят не был / Пер. Н. В. Брагинской. XII. Олимпийская речь, или Об изначальном сознании божества / Пер. Н. Брагинской и М. Грабарь-Пассек // Ораторы Греции. — М., 1985. — С. 304–336, 283–303; *Дион Хрисостом*. [Речи.] XXI. О красоте. LI. К Диодору. LIII. О Гомере. LV. О Гомере и Сократе / Пер. О. В. Смыки; Комментар. А. А. Тахо-Годи // Вопр. классич. филол. — М., 1990. — Вып. X: Античность в контексте современности. — С. 174–195. Классические издания: *Dion Chrysostomus. Opera* / Ed. by H. L. Crosby. — L., 1949–1956. — Vol. I–VI; *Dio Chrysostom* / With an English Translation by J. M. Cohoon: In V vol. — L.; Harward, 1961–1977.



Вид на Верхний город из Мёринговского сада (район нынешних улиц Архитектора Городецкого, Марии Заньковецкой, пл. Ивана Франко), фото середины 1880-х из архива В. Е. Ясевича



Улица Николаевская (Архитектора Городецкого). Справа — гостиница «Континенталь» (архитекторы Э. П. Брадтман, В. В. Городецкий, Г. П. Шлейфер, 1897 г.), фото 1900-х из архива В. Е. Ясевича

и стройности целого»¹. Сонни как исследователь Диона внес лепту в виде герменевтических поправок к чтению этого автора, что и было оценено другим палеографом, В. К. Ернштедтом. Ученых такого научного уровня и талантливости в России тогда было несколько человек.

На выборе научной темы или направления всегда отражается сознательное отношение автора. Человек, не любящий детей, не станет заниматься детской психологией и не пойдет за ребенка на костер (как Януш Корчак), не любящий стариков не будет заниматься геронтологией и служить в доме призрения, зато мизантроп с удовольствием посвятит себя изучению больших общественных движений: за таким масштабом не видно конкретного человека, «человека в плаще», зато выпукло выглядит идея, руководящая податливой массой, и вожак, эту массу направляющий (такой же, по сути дела, мизантроп, как и тот, который его изучает). Впрочем, делать выводы о мотивациях выбора научной темы на столь нетвердом основании — забава. Ведь человеку просто-напросто может быть интересно. Сонни, увлекшийся Дионом Хрисостомом (из Прусы²), кинизирующим писателем I–II вв., наверняка стоял на либеральных позициях, не принадлежа в университете ни к монархически настроенным правым (Флоринский, Кулаковский, Фортинский), ни к либерально-демократическим левым. Разумеется, Сонни-ученый не мог отождествлять себя с деклассированными земледельцами, этим люмпен-пролетариатом античного мира, жившим за счет государства. Но он был университетский преподаватель, тоже живший за державный кошт, служи-

¹ Нахов И. М. *Философия киников*. — М., 1982. — С. 99.

² Олег Цыбенко наверняка назвал бы его Дионом Прусским по аналогии с именованием Нонна — Панопольским вместо привычного уху Пано-политанского.

вый человек, правда — ставил умственный труд превыше всего. Инстинктивные люмпен-пролетарские вожделения были ему чужды, однако выбор для исследований текстов Диона нельзя признать случаем с сугубо научной ориентацией: кинизм — неодолимое стремление «маленького человека» выстоять и заявить о своих поправленных правах¹. Профессор с диковинным, немецко-еврейским именем «Адольф Израилевич Сонни» не мог чувствовать себя в российской университетской коллегии до конца своим человеком. Конечно, он, как Дион, подражавший Гераклу, не ходил в львиной шкуре и не тужил за кинической униформой: коротким плащом, сумой и посохом². Однако же, выбор книзирующего Диона в качестве предмета для изучения (когда один человек изучает труды другого человека, он, пожалуй, должен быть тому хоть как-то конгеннален) неслучаен и коренится в каких-то психосомных особенностях мировоззрения Сонни. Как в свою бытность Дион из Прусы, обласканный императором Траяном, отходит после возвращения из изгнания от кинических

¹ Нахов И. М. *Философия киников*. — С. 31.

² Нахов И. М. Эстетические и литературные взгляды киников // *Вопр. классич. филол.* — М., 1969. — Вып. II. — С. 33. См. также: *Arnim H. von. Leben und Werke des Dio von Prusa.* — Berlin, 1898; *Francois L. Essai sur Dion Chrysostome.* — Paris, 1921; *Вальденберг В. Е.* Политическая философия Диона Хрисостома // *Изв. АН СССР.* — 1926. — № 10/11. — С. 949–974; № 13/14. — С. 1281–1302; № 15/17. — С. 1535–1559; 1927. — № 3/4. — С. 287–306; *Нахов И. М.* Кинизм Диона Хрисостома // *Вопр. классич. филол.* — М., 1976. — Вып. VI. — С. 46–104; *Лосев А. Ф.* Дион Хрисостом // *Лосев А. Ф.* Эллинистически-римская эстетика: I–II вв. н. э. — М., 1979. — С. 179–190; *Нахов И. М.* Император Юлиан и «невежественные киники» // *Вопр. классич. филол.* — М., 1980. — Вып. VII: Образ и слово. — С. 133–167; *Бокщанин А. Г.* Источниковедение Древнего Рима. — М., 1981. — С. 119–120.



*Юлиан Андреевич
Кулаковский
в домашнем кабинете,
предположительно
1909 г., фото
С. Ю. Кулаковского*

принципов неприятия государственного строя и современной ему жизни и даже высказывает религиозные симпатии, так еврей-выкрест из Лейпцига, обласканный уставом российских университетов, получил верноподданническое удовольствие подтвердить либерализм и законопослушание. Адольф Израилевич склонен к изучению многослойных, остроумных вещей, будучи (вспомним отзыв Ростовцева), по-видимому, в силу научной аккуратности человеком в общении тоскливым. Однако многолетние занятия Дионом, Катуллом, греческими эпиграммами и римскими пословицами — сиречь вещами остроумными — говорят об этом отчетливее прочих занятий.

Участие в переводе «Стратегики» Никифора II Фоки и «Истории» Аммиана Марцеллина. Чем именно известно ныне имя Адольфа Сонни? Прежде всего участием в пере-

водах Юлианом Андреевичем Кулаковским (1855–1919) военного трактата — «Стратегики» — императора Никифора Фоки (X в.) и так называемой «Римской истории» («Res gestae») Аммиана Марцеллина, латинского историка V в., которые были выполнены в 1906–1908 гг.

«В Киеве в начале сентября [1905 г.] начались сходки студентов в Университете и в Политехническом институте. В конце сентября студенческие сходки переросли в столкновения с полицией и в беспорядки на улицах. В начале октября остановилось движение на железных дорогах и начались забастовки на заводах. 14 октября 1905 года в Киеве перестали выходить газеты и остановились трамваи. Постепенно прекратились работы на всех предприятиях и занятия в школах. Стали закрываться магазины... Вечером [18 октября] у киевской городской Думы на Крещатике войска стреляли в толпу, а на Подоле, на Галицком базаре и на Лукьяновке начался еврейский погром, который постепенно охватил весь город»¹. Нормальная жизнь была нарушена, и о спокойствии в университете (и гимназическом) образовании едва ли можно вести речь. Однако, стоит полагать, 1905-й и 1906-й были временем тесных научных контактов Сонни и Кулаковского, коллег по Университету, людей одинакового послужного ценза. Время позволяло: студент бастовал, оклад сохранялся, и перевод с комментариями — приятное для гуманитария времяпрепровождение.

В письме от 9.06.1906 декану историко-филологического факультета, старому другу, доктору славянской филологии, профессору Тимофею Дмитриевичу Флоринскому (1854–1919)² Кулаковский пишет: «Получил я сего-

¹ Полетика Н. П. Виденное и пережитое (Из воспоминаний). — Иерусалим, 1982. — С. 20–21.

² См. о нем исследовательскую монографию: Щербань Т. О. Тимофій

дня почтой корректуру моего отзыва о книге [С. Д.] Пападимитриу. Сонни хотел, да и должен был кое-что добавить. Но этого не сделал. Я отсылаю корректуру [В. С.] Иконникову. Но прошу тебя при случае передать Сонни, чтобы потом не вышло неудовольствия, так как под рецензией стоит и его подпись. Я думал было добавить кое-что из сделанных на досуге возражений, указать слабость и необоснованность некоторых гипотез. Но не имею охоты делать это, да, может быть, это и не нужно. — Я бы и сам написал Сонни, да не знаю, часто ли он бывает в городе, и думаю, что через тебя и Вл[адимира] Степ[ановича Иконникова] будет вернее»¹. Осталось неизвестным, дописывал ли что-нибудь Сонни к тексту их совместного с Кулаковским отзыва, однако в августовской книжке «Университетских известий» отклик на монографию

Дмитрович Флоринский (1854–1919) / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. — К., 2004 (вероятно, Тимофею Дмитриевичу, полагавшему украинский язык наречием, она бы не понравилась), а также переписку: Листування [М. П. Дашкевича] з Т. Д. Флоринським // Чуткий А. Никола Павлович Дашкевич (1852–1908). — К., 2008. — С. 281–444. Н. П. Полютика пишет об обстановке в Киеве в начале Первой Балканской войны (октябрь 1912 г.): «Патриотические статьи в защиту славян в Киевских газетах, в особенности в “Киевлянин”, сбор пожертвований на подарки раненым и так далее — все это шло под идейным влиянием профессора славяноведения Киевского университета Т. Д. Флоринского, ярого националиста и шовиниста. Его сын “Микочка” учился в нашем классе, в первом отделении. Студент Голубев, завсегда дома Флоринских, в газете своей организации “Двуглавый Орел” высказывал крайне шовинистические взгляды» (Полютика Н. П. Виденное и пережитое... — С. 43). Старший сын Флоринского, Сергей, погиб в Первую мировую (1916), сам Т. Д. Флоринский расстрелян ЧК в мае 1919-го (оба перезахоронены с Аскольдовой могилы на Лукьяновском кладбище; надгробие не сохранилось).

¹ ИР НБУВ. Ф. III, д. 20349, л. 1–2 об.



Тимофей Дмитриевич
Флоринский,
типографский эксцерпт
1885 г. из архива
М. Р. Селивачёва

С. Д. Пападимитриу «Феодор Продром: Историко-литературное исследование» (Одесса, 1905) выдержан в духе лучшего объективно-восторженных рецензий того (да и недавнего нашего) времени и подписан обоими учеными.

В декабре 1906-го Кулаковский писал акад. П. В. Никитину по поводу подготовленного перевода «Стратегии» императора Никифора: «Хотя я и много возился и кое в чем мне оказал помощь мой коллега Сонни, но остались места, где смысл темен, может быть, и не вследствие порчи текста»¹. В предисловии Кулаковского к изданию «Стратегии» (1908 г.) звучат благодарственные интонации: «Любезное содействие в этом деле оказал мне мой уважаемый коллега, профессор А. И. Сонни»².

¹ Иодко О. В. П. В. Никитин и его вклад в византинистику (по материалам С.-Петербургского филиала Архива РАН) // Рукописное наследие русских византинистов... — С. 154.

В. П. Бузескул в знаменитом обзоре отмечает: «В рукописи, заключающей в себе “Стратегику Кекавмена”, изданную В. Г. Васильевским, имелась “Стратегика императора Никифора Фоки”, которую и издал Ю. А. Кулаковский при содействии А. И. Сонни, вслед за греческим текстом изложив по-русски и содержание ее»¹. Что Бузескул не отметил активного участия П. В. Никитина в подготовке текста «Стратегии» Никифора (о чем писал в предисловии Кулаковский²), дело частное, а вот что Сонни здесь приписана та мера содействия, о которой Кулаковский говорит в спокойных выражениях, удивляет. В одном из писем Никитину Кулаковский отметил: «Не могу не сознаться, что я очень сконфузился, узнав про такие погрешности моего списка. Первоначальная копия у меня есть, и мы ее считывали с Сонни, достаточно опытным в обращении с рукописями» (22.05.1907); в другом: «Не знаю, как и благодарить Вас за Вашу помощь; вижу и понимаю, как много времени и труда Вы приложили на приведение в должный вид “Стратегии”. Стыжусь

² (К стр. 59) Кулаковский Ю. А. «Стратегика» императора Никифора: Греческий текст по рукописи Московской Синодальной библиотеки с общими объяснениями // Зап. Имп. акад. наук. — 1908. — Т. VIII. Ист.-филол. отд. — № 9. — С. VIII; *Никифор II Фока*. Стратегика / Пер. и коммент. А. К. Нефёдкина. — СПб., 2005. — С. 108.

¹ Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века / Сост. И. В. Тункина. — М., 2008. — С. 347.

² «Особенной признательностью я обязан вице-президенту Академии [наук] П. В. Никитину, который принял на себя труд редакции моего издания. Сверив мой список по рукописи, П. В. своими поправками разъяснил немало мест, оставшихся для меня неясными, и его авторитетные указания много содействовали лучшему уразумению памятника. Без доброй помощи П. В. я бы не решился выпустить в свет это издание» (*Никифор II Фока*. Стратегика. — С. 108–109).



Пётр Васильевич Никитин

за свою поспешность и не нахожу слов благодарить Вас... Если Вы сами сделаете характеристику рукописи, то мои скудные замечания на этот счет могут совсем устраниваться, и в предисловии можно оговорить, что эта часть работы взята Вами на себя» (2.10.1907); и еще: «Чувствую себя не только пристыженным, но и униженным в собственном сознании. И я оказался не только школьником перед Вами, но и плохим школьником» (19.04.1908)¹ итд. — Скорее Бузескулу следовало бы пропеть дифирамб Петру Васильевичу, нежели Адольфу Израилевичу.

Пожалуй, с аналогичным курьезом мы столкнемся в связи с подготовкой перевода Аммиана Марцеллина, приходящемся на 1906–1908 гг. Конечно, Сонни помогал Кулаковскому в осуществлении перевода с латыни полного текста Аммиана — главного исторического свидетельства о деятельности римского кесаря Юлиана Отступника (*Apostata*) и событиях в Римской империи

¹ Цит. по: *Иодко О. В.* П. В. Никитин и его вклад в византистику... — С. 154–155.

III–IV вв. «Его [Аммиана] литературные способности были весьма высоко оценены сегодняшними исследователями. Э. Штайн называл его величайшим литературным гением в мире между Тацитом и Данте, а Н. Бейнз называл его последним великим историком Рима»¹.

На мой взгляд, не совсем корректно называть этот перевод, выпущенный в трех частях в Киеве в 1906–1908 гг. (типография Стефана Кульженко), переводом «Кулаковского и Сонни», как это сделано в переиздании «Римской истории» достойным питерским издательством «Алетейя».

Кулаковский переводил текст Аммиана самостоятельно, а Сонни только пособил в переводе первых шести книг Аммиана (из восемнадцати), а затем лишь консультировал Юлиана Андреевича по некоторым вопросам. Перевод первых шести книг можно называть соавторским: Кулаковского и Сонни. А вот последующую работу — едва ли.

Сам Кулаковский обозначает степень участия Сонни в их совместных переводческих занятиях: «При издании первого выпуска я имел деятельного сотрудника в лице моего уважаемого коллеги проф. А. И. Сонни. Второй выпуск выходит в свет под одним лишь моим именем, так как текущие учебные занятия и другие работы не позволили моему товарищу найти время для участия в окончательной обработке *сделанного мною перевода* (курсив мой. — А. П.) и приготовлении его к печати. Но в некоторых моих затруднениях и сомнениях А[дольф] И[зраилевич] охотно приходил мне на помощь, за что я приношу ему здесь мою искреннюю признательность»². Положа руку

¹ Васильев А. А. История Византийской империи: Время от Крестовых походов (до 1081 г.). — СПб., 1998. — С. 187.

² Кулаковский Ю. А. Предисловие // Аммиан Марцеллин. История / Пер. с лат. Ю. Кулаковского. — К., 1907. — Вып. II. — С. IX.



Здание Императорского университета св. Владимира в Киеве, архит. В. И. Беретти, 1837–1843 гг., с открытки 1900-х



Киевский художественно-промышленный и научный музей Государя Императора Николая Александровича (ныне — НХМУ), архит. В. В. Городецкий, 1898–1901 гг., фото 1900-х

на сердце, следует считать, что и первые шесть книг Аммиана Юлиан Андреевич перевел самостоятельно, а Сонни лишь их «окончательно обработал», то есть выступил литературно-научным редактором. Впрочем, это немалое дело. В предисловии к 3-му выпуску (датировано 10.05.1908), которым Кулаковский заканчивал «исполнение давно задуманного мною дела представить одного из крупных исторических писателей древности в уборе русской речи», выражены такие слова признательности: «я должен поблагодарить за добрые советы относительно передачи некоторых мест текста и терминов моих уважаемых коллег А. И. Сонни и А. К. Митюкова, а Университет св. Владимира за принятие на свой счет расходов по изданию моего перевода»¹. Так что второй и третий выпуски были выполнены Кулаковским самостоятельно. Зная тщательность Юлиана Андреевича в отделке любого текста, который выходил из-под его пера, другой вывод едва ли может быть зачтен верным².

Здесь не ставится цель выяснить процент авторского участия Сонни в переводах Кулаковского: Юлиан Андреевич сам достаточно четко обвел меру этого участия.

¹ Кулаковский Ю. А. Предисловие // Аммиан Марцеллин. История / Пер. с лат. Ю. Кулаковского. — К., 1908. — Вып. III. — С. VIII. Попутно подчеркну, что издание всех трех выпусков было профинансировано Университетом св. Владимира по решению Совета Университета, «любезному отношению которого к ученым трудам своих сочленов немало обязана русская ученая литература» (Кулаковский Ю. А. Предисловие // Аммиан Марцеллин. История. — Вып. II. — С. XI).

² Впрочем, в частном письме ко мне М. А. Гаспаров любезно сообщил: «Знаете ли Вы, что я когда-то его [перевод Кулаковского] редактировал: в антологии «Памятники ср.-в. лат. лит.-ры IV–IX вв.» (1970) помещены три его отрывка из Аммиана, и так как к своеобразному стилю Аммиана он был равнодушен, то пришлось довольно густо править» (28.11.2000).



Памятник Государю Императору Николаю Павловичу перед корпусом Университета св. Владимира, ск. П. А. Чижов, 1893–1896 гг., фото из архива В. Е. Ясевича



Здание Городской публичной библиотеки, archit. А. С. Кривошеев, З. А. Клаве, 1910–1911 г., фото 1910-х

Важно подчеркнуть, что в кругу киевских знакомцев Кулаковского, знавших тонкости герменевтического анализа текста и палеографии списков, подлинным профессионалом оказался один лишь Сонни. Отчего Адольф Израилевич не принимал участия в дальнейшем переводе книг Аммиана, остается лишь догадываться. Единственным убедительным пояснением может оказаться такое: в 1904–1906 гг. Сонни активно трудился над этнологической статьей, на удивление не связанной с областью его античных интересов: о персонажах Горе и Доле в народной сказке¹. И хотя в этой монографии, до сих пор не утратившей значения, античным делам уделено свое место (как источникам сюжетов), следует удивиться широте научных интересов Сонни в 1900-х.

После отзыва на книгу С. Д. Пападимитриу о Феодоре Продроме, написанного вместе с Кулаковским и изданного в том же 1906-м году, следует публикаторский перерыв почти в десять лет (не считая двух страничек отзыва о коллеге-античнике Иосифе Лециусе в «Университетских известиях», 1913). В 1915-м вышла небольшая византийская статья «Михаил Акоминат — автор «Оличетворения», приписываемого Григорию Паламе» (1915), заключающая в себе важное открытие авторства, признанного мировой наукой («Adolf Sonny in 1915 attributed the work to Michael Acominatus. cf. Dictionnaire de theo-

¹ См., например, отзыв П. Г. Виноградова: «Сложность ... образа Горя-Злосчастия наводила на мысль о возможности обратного влияния его на позднейшие великорусские песни и сказки. Впервые эту мысль высказал А. И. Сонни в работе «Горе и Доля в народной сказке» в 1906 году. Ответить же, каково было обратное влияние, он еще не мог. Только подробный стилистический анализ текста Повести и сравниваемого с ней песенного материала дал возможность В. Ф. Ржиге разобраться в этом чрезвычайно запутанном вопросе» (www.lib.pushkinskijdom.ru/Portals).

logie catholique. v. 11, pt. 2, col. 1749») и малоизвестного в отечестве; и ставшая самостоятельной книгой 90-страничная рецензия на труд Д. П. Шестакова «Опыт изучения народной речи в комедии Аристофана» (1913) — «Аристофан и аттический разговорный язык», вышедшая в двух книжках ЖМНП в 1916 г. и отдельным оттиском. Последними работами, увлекательно, даже энигматически написанными, Сонни как бы раздает всем сестрам по серьгам: отдает должное давним антично-палеографическим увлечениям и недавним этнологическим, замешанным на хорошей литературности письма.

Дела 1900–1910-х. В бытовом отношении о последних десятилетиях жизни Адольфа Сонни сведений больше, нежели о предшествующих. Остановлюсь на некоторых подробностях.

В 1910-м Сонни был одним из инициаторов организации в Киеве Археологического института: сохранилось приглашение, подписанное им как секретарем группы учредителей этого заведения, на имя академика В. С. Иконникова¹.

В конце декабря 1911-го Сонни вместе с Юлианом Кулаковским и Иосифом Лециусом был делегатом Первого Всероссийского съезда преподавателей древних языков в Санкт-Петербурге², однако, в отличие от Лециуса и Кулаковского, на съезде не выступал: сидел молчаливым свидетелем и наверняка — сибарит и киник — позевывал.

В 1912-м состояние преподавания древних языков на историко-филологическом факультете Университета был таков: «По кафедре классической филологии преподавание было обеспечено штатным профессором А. И. Сон-

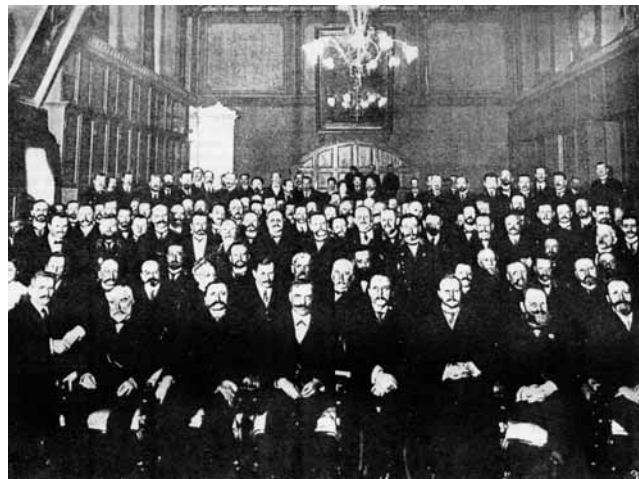
¹ ИР НБУВ. Ф. III, д. 51075, л. 1.

² См.: Труды Первого Всероссийского съезда преподавателей древних языков 28–31 декабря 1911 г. — СПб., 1912.

ни (греческая словесность) и внештатным профессором Ю. А. Кулаковским и приват-доцентами: В. И. Петром и А. О. Поспишилем (римская словесность)... и приват-доцентом В. П. Клингером (греческая словесность)»¹. Именно такой состав преподавателей и предметов сохранялся до начала революционной чехарды 1918–1919 гг., даже во время эвакуации Университета в Саратов во время Первой мировой (1915 г.). В 1914–1918 гг. кафедра классической филологии была дополнена штатными доцентами В. П. Клингером, Л. А. Пахаревским, С. С. Дложевским и некоторыми другими. «В 1914 г. Киевский Университет по составу своих студентов представлял настоящий вавилон: русские, украинцы “вообще” и “щирые” украинцы (у них была своя форма — национальный украинский костюм или по меньшей мере вышитая украинским узором сорочка), поляки в сплюснутых блином студенческих фуражках, “истинно-русские” немцы, грузины и другие кавказские народности (на Кавказе тогда еще не было своего университета), большей частью в бурках и папахах, а иногда и с кинжалами на боку. В 1914 году студенты не призывались в армию, и университетская жизнь протекала почти как в прежние годы»². В первые военные месяцы политика имперского правительства была направлена на отстранение лиц немецкого происхождения от ответственных должностей. Одной из жертв этого диковинного процесса стал заслуженный ординарный профессор Университета, известный лингвист-санскритолог Федор (Фридрих) Иванович Кнауэр (1849–1917). Когда Кнауэра уволили и, по сути, лишили средств к существованию (его семья — жена и шестеро детей — жила

¹ Отчет о состоянии и деятельности Императорского университета св. Владимира в 1912-м году // УИ. — 1913. — № 11. — С. 6.

² Полетика Н. П. Виденное и пережитое... — С. 57–58.



А. И. Сонни, Ю. А. Кулаковский и И. А. Лециус среди делегатов
Первого Всероссийского съезда преподавателей древних языков,
Санкт-Петербург, декабрь 1911 г.

с 1912 г. в Германии на деньги, которые Кнауэр в России зарабатывал профессорствованием¹), Сонни 26.11.1914 писал приват-доценту В. Е. Данилевичу *cum grano salis*: «Большая неприятность: Кнауэра вышвырнули из Университета и с [Высших женских] курсов, то есть пока заставили его подать рапорт о болезни по текущий и на наступающий семестры. Дивны дела Твои, о Господи!»²

¹ См.: Справа професора Фрідріха Кнауера у 1914–1915 роках // *Alma Mater: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920 рр.* / Упоряд. В. А. Короткий, В. І. Ульяновський: [У 3 т.] — К., 2000. — Т. 1. — С. 655–670; а также послужной список Кнауэра: ГАГК. Ф. 16, оп. 463, д. 4788, л. 39–44.

² ИР НБУВ. Ф. XXIX, д. 1371, л. 3.

Товарищ министра народного просвещения прислал попечителю Киевского учебного округа А. Н. Деревицкому эпистолу: «считаю долгом просить Ваше Превосходительство обратиться, частным образом, к заслуженному ординарному профессору Императорского университета св. Владимира Кнауэру с предложением подать ныне же рапорт о болезни и, затем, не появляться ни в университете, ни в Киевских высших женских курсах во все время войны. Если бы профессор Кнауэр не пожелал исполнить этот добрый совет, то прошу Вас, Милостивый Государь, предложить ему официально подать прошение об отставке и, в случае неподачи такого прошения, — представить профессора Кнауэра к увольнению от службы без прошения, предварительно предупредив его об этом» (17.11.1914). Кнауэр послушался, и 24.11.1914 написал рапорт о временном освобождении его от профессорских обязанностей¹. Распоряжением министра народного просвещения графа П. Н. Игнатьева Кнауэр был сослан в Сибирь, в Томск (с наложением ареста на получаемую им пенсию), где едва устроился преподавать иностранные языки в Томском университете. Не только Сонни отрицательно относился к Кнауэру (конечно, не в связи с его немецким происхождением), многие профессора недолго любили коллегу по каким-то личным причинам (С. Т. Голубев² от-

¹ Справа професора Фрідріха Кнауера у 1914–1915 роках... — С. 659.

² Сын Голубева, Владимир, был в пору отцу: «этот антисемит-фанатик был вдохновителем процесса [Бейлиса]. Ведь это он указал на Бейлиса как на ритуального убийцу. Но после первых же слов на суде он упал в обморок. Показания Голубева на следующий день дали обильную пищу для насмешек над ним. Публика издевалась над тем, что Голубев в поисках вдохновения провел в одиночку целую ночь в апреле 1911 года в пещере, где был найден труп Ющинского. Когда же выяснилось поразительное невежество Голубева, который признался, что впервые услышал о существовании сек-



Памятник Петру Аркадьевичу Столыпину на Думской площади, ск. Э. Ксименес, 1913 г., фото из архива М. Б. Кальницкого

крыто выступил против Кнауэра, обвинил в измене родине и требовал удаления из университета). Как бы то ни было, фамилия Сонни как иностранная попала в «черный» список «лиц иностранного (особенно немецкого) происхождения, которые могут быть использованы Германией против России в период войны», сразу за фамилией Кнауэра¹. Но ему было проще.

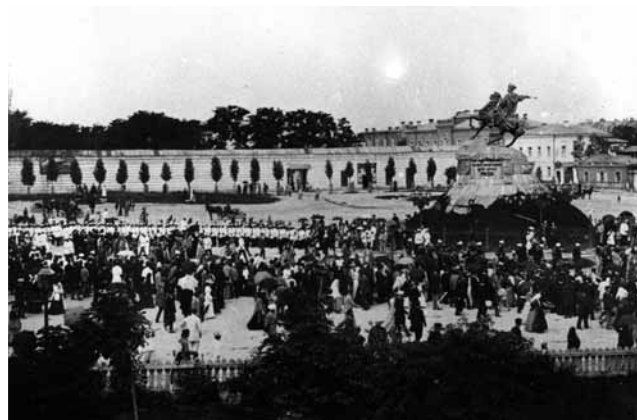
1 февраля 1914 г. по предложению попечителя Киевского учебного округа Адольфу Сонни было поручено чтение лекций по кафедре классической филологии в 1914/15 учебном году; 30.11.1916 — в 1916/17-м; 1.01.1917 — в 1917/18-м с вознаграждением по 1200 рублей на полугодие². Однако в весеннем полугодии 1918-го внештатному профессору Сонни за 4 часа обязательного курса «Катулл» и 2 часа обязательных практических занятий решением факультета было выплачено по 450 рублей за час, то есть 2700³. Н. П. Полетика вспоминал: «Лекции проф. Гилярова (“Введение в философию”) и проф. Сонни (“Гораций”) посещал далеко не все. Зато

ты цадиков и хасидов, употреблявших христианскую кровь..., от одной помешницы, а с термином “хасиды” познакомился в учебнике географии, то это окончательно скомпрометировало его» (Полетика Н. П. Виденное и пережитое... — С. 47–48). С. Т. Голубев (1849–1920) был специалистом по истории богословия и церкви, профессором Университета и Киевской духовной академии, членом-корреспондентом Императорской академии наук (с 1908), крайне правый монархист. В. С. Голубев (1891–1914) погиб в Первую мировую. Младший сын С. Т. Голубева — будущий архиепископ Калужский и Боровский Ермоген (1896–1978, похоронен в Киеве).

¹ Список № 1 профессорам, значащимся на службе при Киевском Университете св. Владимира с иностранными фамилиями // Alma Mater... — Т. 1. — С. 650–651.

² ГАГК. Ф. 16, оп. 465, д. 4816, л. 9–10.

³ Там же. Л. 619.



Крестный ход в честь 900-летия Крещения Руси, 15 (28) июля 1888 г. на Софийской площади, фото из архива И. А. Зотикова



Улица Столыпина (ныне — Олеся Гончара). По правую руку — хирургическая клиника Качковского–Маковского, в которой скончался П. А. Столыпин, фото из архива И. А. Зотикова

лекции доц. Дложевского (он разбирал и комментировал трагедию Эврипида “Ипполит”) пришлось посещать без пропусков из-за недостаточного знания греческого языка. Оно не позволяло ни мне, ни другим студентам, окончившим “полуклассическую гимназию” (где греческий язык не преподавался) успешно вести запись лекций... Так кончился первый год моей учебы в университете: следующий учебный год университет провел в Саратове и вернулся в Киев лишь осенью 1916 г. Эти годы уже не были нормальными учебными годами, а с 1917 года начинается закат старого университета»¹.

Хотя весной 1917-го Сонни (вместе с Кулаковским, Флоринским и другими профессорами) и принимает участие в работе экзаменационной комиссии историко-филологического факультета, гораздо любопытнее перечень тех мероприятий, в которых Сонни не участвовал, хотя имел для того все основания. Так, его имени нет среди участников нескольких ответственных комиссий и заседаний бурного времени рубежа 1910–1920-х: Комиссии по делам высшей школы и научных заведений (под водительством В. И. Вернадского)², экстренного заседания Совета лекторов Киевского Украинского народного университета³. Он не участвует в разработке ряда законопроектов касательно высшей школы (в частности, о финансовом содержании госуниверситетов); во II съезде представителей высших школ Украины в мае 1918-го⁴ итд. Зато на заседаниях Совета Университета после Февральской революции Сонни присутствует на редкость аккуратно¹. Почему? От-

¹ *Полетика Н. П.* Виденное и пережитое... — С. 59–60.

² *Alma Mater: Университет св. Володимира...* — К., 2001. — Т. 2. — С. 430–431.

³ Там же. — С. 446–447.

⁴ Там же. — С. 531 sqq.

вет, вероятно, выхлестывается из самого характера Адольфа Израилевича, который при любой возможности избегал каких-либо политических или партийно-общественных заседаний: главным его интересом оставались тихие научные занятия, и все, что мешало этому, подвергалось небрежению. Тогда в России уже «заблудилась и летала какая-то шальная пуля, выпущенная октябрьским пулеметчиком, и мешала вам думать. Нет способа так жить, чтобы пуля эта вам не грозила и не задевала»². Действительно, обстановка для умственных занятий была на редкость неподходящей, и приходилось изворачиваться.

В заседании Исторического общества Нестора Летописца, посвященного памяти его долговременного председателя Юлиана Кулаковского (1905, 1908–1919 гг.) в конце весны 1919-го А. И. Сонни первым сделал доклад о сочинениях Юлиана Андреевича по классической филологии. Потом выступали Г. И. Якубанис, В. П. Клингер (доклад сохранился³), А. М. Лобода и В. Н. Базилевич. Некоторые из выступавших через три года примут участие в аналогичном заседании памяти самого Адольфа Израилевича.

Сонни-профессор преподавал в Университете до конца 1921 г., затем начал хворать, состояние университетской жизни мало интересует его, как это было еще в последние годы 1910-х. — «Проф. А. И. Сонни сегодня, 28-го октября, по болезни лекций читать не будет», — гласило объявление⁴, вывешенное в вестибюле Университета (тог-

¹ Див.: Протоколи засідань Ради Университету св. Володимира за 17 травня — 15 грудня 1918 року // *Alma Mater...* — Т. 2. — С. 549–634.

² *Осоргин Мих.* Тем же морем (1922 г.) // *Осоргин Мих.* Заметки старого книгоеда. Воспоминания. — М., 2007. — С. 630.

³ *Клингер В. П.* Памяти заслуженного профессора Киевского университета, доктора римской филологии Юлиана Андреевича Кулаковского // *Пучков А. А.* Юлиан Кулаковский и его время. — С. 445–451.

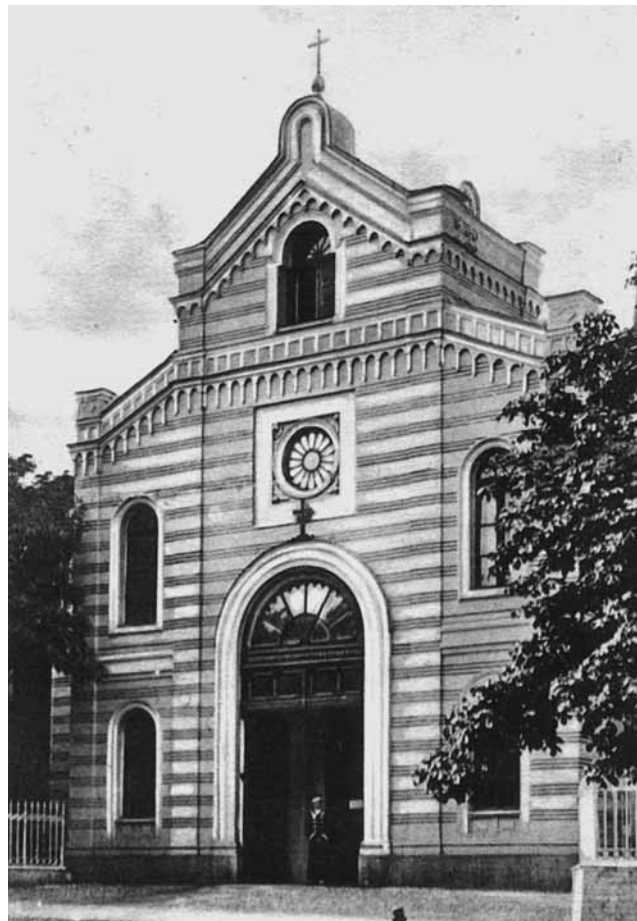
да — Высшего института народного образования им. Драгоманова, славный ВИНО). Через полгода, в начале марта 1922-го, в том же самом вестибюле другое объявление: «В воскресенье, 12 марта, в 12 час. дня по солнцу (2 час. по оф[ициальному] вр[емени]) в храме св. Марии Магдалины — угол Паньковской и Никольско-Ботанической ул[иц] — состоится панихида по проф. А. И. Сонни»¹. По предположению М. Б. Кальницкого, с которым я солидарен, отпевание Сонни состоялось 11 марта в Лютеранской кирхе на Лютеранской, 22; православные же профессора Университета 12 марта почтили память Адольфа Израилевича панихидой в приделе св. Марии Магдалины Мариинского детского приюта на ул. Паньковской, 2/12. Место погребения ученого установить не удалось. По-видимому, его останки покоятся на лютеранской части Байкового кладбища.

Через месяц после кончины Адольфа Израилевича, 9.04.1922, в VII аудитории Университета коллеги устроили собрание, посвященное его памяти. Со вступительным словом выступил тогдашний декан историко-филологического факультета, психолог и философ С. А. Ананьин², профессор А. М. Лобода обозрел жизненный путь и научно-педагогические труды Сонни, Г. Н. Иваница поведал о нем как филологе-классике, профессора Г. Г. Павлуцкий и Б. В. Якубский поделились личными воспоминания-

⁴ (К стр. 75) ИР НБУВ. Ф. XXXIII, д. 1402, л. 4.

¹ Там же. Л. 5.

² Автор книги «Интерес по учению современной психологии и педагогики» (К., 1915), где в последних строках введения он обращается «со словом благодарности и признательности к проф. Сорбонны Брюно за сообщение им ценных сведений по истории применения термина “интерес” во французской речи, проф. Киевского Университета А. И. Сонни за такие же сведения относительно латинского языка».



Евангелическо-лютеранская церковь Св. Екатерины
на ул. Лютеранской, 22, архит. И. В. Штрот, П. И. Шлейфер,
1855–1857 гг., фото из архива М. Б. Кальницкого

ми. Тексты этих выступлений едва ли сохранились, оценки, которые, быть может, в них содержались, остались неизвестными. Однако есть другие свидетельства, по которым удастся приблизительно реконструировать как характер, так и научно-педагогические достоинства Сонни такими, какими они виделись его современникам.

Студенты об Адольфе Сонни. Учеником Сонни (и Клингера) был *Яков Эммануилович Голосовкер* (1890–1967), философ, переводчик с древних языков и писатель. Именно Сонни был тем профессором, который оказал значительное влияние на формирование научного мировоззрения Голосовкера-филолога (под его руководством Голосовкер еще студентом переводил эллинских поэтов), а после Второй мировой войны между Голосовкером и Клингером, обосновавшимся профессором классической филологии Познаньского университета, завязалась переписка. Как отмечает Н. В. Брагинская, опираясь на воспоминания Голосовкера, Сонни был филологом старой немецкой школы, признававшим факты, а не домыслы, серьезным текстологом, сочинял преимущественно по-латыни; Клингер вслед за Сонни интересовался эллинским фольклором, античными сказками, и этот интерес передал Голосовкеру¹.

Другой ученик Сонни, Лециуса и Кулаковского, *Павел Петрович Блонский* (1884–1941), известный в советское время педагог, а среди историков философии и как автор одной из первых книг о неоплатонике Плотине («Философия Плотина», К., 1918), вспоминал о Лециусе и Сонни: «Он [Лециус] слыл большим чудаком. Как ученый он был полнейшая бесплодность... Чем же он был по-

¹ См.: *Брагинская Н. В.* Об авторе и о книге // *Голосовкер Я. Э.* Логика мифа. — М., 1987. — С. 188; *Шмидт С. О.* О Якобе Голосовкере // *Голосовкер Я. Э.* Засекреченный секрет: Филос. проза. — Томск, 1998. — С. 4.



Памятник св. княгине Ольге, св. равноап. Андрею Первозванному, просветителям свв равноап. Кириллу и Мефодию, скульпторы И. П. Кавалеридзе, П. В. Сниткин, архит. В. Н. Рыков, май–сентябрь 1911 г., фото 1910-х из архива В. Е. Ясевича



Государь Император Николай Александрович у входа в Софийский собор, январь 1915 г., фото из архива М. Б. Кальницкого



Яков Эммануилович Голосовкер

лезен? Своей ярко выраженной любовью к науке. Мы читали и переводили вместе с ним драму Еврипида “Вакханка”. Благодаря его безалаберности в ведении занятий мы мало успели перевести, но он нас буквально свел с ума чтением греческих стихов... Он как никто дал почувствовать музыку греческого стиха... О византинисте [В. Г.] Васильевском он говорил с уважением, но здесь же прибавлял: “Плохо говорит по-гречески”. Сам он жаловался, что в Киеве ему не с кем говорить по-латыни, кроме А. И. Сонни, да и тот ленится. Вот эта наивная, но восторженная любовь к науке воспитывала меня лучше всяких лекций, читать которые он был не мастер».

О Сонни Павел Блонский записал вот что: «Это был маленький, полный человек с большим басом. Внешне он производил скорее полукомическое впечатление. Но в нем жило сильное чувство поэзии, его семинар по римскому поэту Катулле давал мне немалое наслаждение. Одно из уродств русской жизни в царской России — что такой знаток языка, литературы и поэзии, как А. И. Сонни, ничего почти после себя не оставил»¹. Из личного де-



Павел Петрович Блонский

ла студента Блонского известно, что у Сонни в 1902–1907 гг. он почти в каждом семестре присутствовал на практических занятиях по латыни, слушал лекции о Катулле и Горации, курс метрики эллинов и римлян¹. Блонский, на свидетельства которого стоит полагаться очень осторожно, как и в упоминаниях о других университетских преподавателях (Флоринском, Кулаковском, Фортинском и др.), в приведенных только что отзывах гиперкритически оценивает научные достоинства и Сонни, и Лециуса (доктора классической филологии, автора многих исследований о Плутархе, Гальбе и Александре Македонском), но в этих отрывках отпечатлелся самый дух преподавания и толкования памятников древнегреческой и римской литературы, научивших студента понимать эти памятники лучше, нежели этому могло бы пособить

¹ (К стр. 80) Блонский П. П. Мои воспоминания. — М., 1971. — С. 56–57. Стоит напомнить публикацию: Сонни А. Иосиф Андреевич Лециус // УИ. — 1913. — № 12. — С. 206–207.

¹ ГАГК. Ф. 16, оп. 465, д. 3224, л. 8–12.



*Виктор Александрович
Романовский*

сухое лекционное изложение. «Филология воспитала у меня тягу наслаждаться наукой», — по-детски трогательно подытоживает Блонский¹.

Другой студент факультета 1909–1914 гг., *Виктор Александрович Романовский* (1890–1971), вспоминал о преподавании специальных дисциплин так: «Что же касается экзаменов по специальным дисциплинам, таким, например, как латинский автор Тацит, Лукреций, Тит Ливий и др., то здесь требовалось не только знание языков и свободный перевод текста, но и научный комментарий, который обычно заключал в себе исторические сведения и бытовые подробности текста. Достаточно сказать, что профессор, читавший нам латинского автора, как-то отказался вести комментарий, так как не захватил с собой своих записей. Это был очень знающий и эрудированный профессор А. И. Сонни»².

¹ Блонский П. П. Мои воспоминания. — С. 57.

² Романовский В. А. К истории подготовки профессорских кадров в дореволюционное время // *Alma Mater*... — Т. 1. — С. 281.



*Валентин Фердинандович Асмус,
фото М. С. Нанпельбаума, 1940*

Еще один студент Университета в 1914–1920-м гг., *Валентин Фердинандович Асмус* (1894–1975), ставший историком философии, вспоминая о преподавании Сонни, сравнивал его с манерой преподавания Кулаковского в таких выражениях: «Каждый семестр в расписании объявлялись два античных автора: один греческий и один латинский, в следующем семестре читались уже другие авторы, так что возможности выбора были большие. Многие, например, предпочитали по римскому автору записаться на курс, который читался по Тациту профессором Кулаковским, так как слава об этом курсе гремела на факультете, или на не менее славившийся курс профессора Адольфа Израилевича Сонни по Катулле»¹. В другом месте Асмус вспоминал, что «первый киевский год учения в Университете прошел спокойно. Я постепенно входил в слушание курсов и знакомился с ученостью и искусством читавших эти курсы профессоров. Второй

¹ Вспоминая В. Ф. Асмуса... / Сост. М. А. Абрамов, В. А. Жучков, А. Н. Алюбинская. — М., 2002. — С. 211.

прослушанной мною в семестре лекций была лекция профессора Адольфа Израилевича Сонни, одного из старейших и заслуженнейших ученых факультета. В этом семестре он читал латинского автора, и этим автором был Гораций. Я записался на Горация. Можно было, конечно, не торопиться и дожидаться семестра, на котором Сонни будет читать свой — знаменитый на факультете — курс по Катулле, которого он очень любил и превосходно читал. Я имел представление о Катулле только по томику переводов из него, сделанных Фетом, но в передаче Фета он не увлек меня. Какой это был великолепный поэт, я узнал позже, когда, зашедши в аудиторию (кажется, это было в 1916 году), где Сонни на этот раз вновь читал Катулла, я был поражен лирической мощью этого поэта.

Записываясь на Горация, я хотел сравнить впечатление от лекций Сонни с тем, которое я вынес из изучения од Горация, приготовленных мною, когда я готовился к экзамену за восемь классов гимназии.

Сонни был во многом противоположность Кулаковскому. Перед ним на кафедре лежал написанный им подробный конспект курса и латинский томик Горация; moreover, он редко заглядывал в конспект и читал, в основном опираясь на память, медленно и внятно чеканя фразы. Если Кулаковский был прекрасный, пожалуй, лучший, как я впоследствии убедился, после [В. В.] Зеньковского на факультете лектор, то Сонни был отличный руководитель семинарских занятий, мастер филологического анализа текста на специальных курсах. Кулаковский был историк и историк литературы, в частности византолог. Сонни — не только историк литературы, но и языковед, лингвист. Он читал греческих авторов, а также историческую грамматику не одного латинского, но и итальянского языка. Слушателям курса по Горацию он открывался еще одной сильной стороной своего про-

фессорского дарования. Он мастерски читал латинские стихи. Через даль шестидесяти лет у меня в ушах стоит великолепный тембр его голоса, глубокий внутренний захват исполнявшимся текстом и некоторая торжественность, патетичность всего чтения. Еще сильнее все эти качества открылись мне, когда через год я слушал в исполнении Сонни Катулла — автора, уже не обязательно для меня — после сдачи Горация, который и был зачитан мне как «латинский автор». Но и на первом курсе впечатление было неотразимое. Кулаковский покорял ученостью, блеском эрудиции, громадной памятью. Сонни — не только глубокой филологической ученостью, но и артистизмом, художественным темпераментом.

Темперамент Кулаковского был темперамент *политический*... Напротив, курс Сонни был совершенно аполитичен. Война была в разгаре, на полях Галиции и во Франции на Марне лилась кровь, шли ожесточенные бои, но Адольф Израилевич переводил из Горация так же, как он это делал и лет пять или десять назад, читая в той же двенадцатой аудитории Горация или какого-либо другого автора другому составу слушателей и когда в Европе было спокойно»¹.

Эти мемуары краше прочего рисуют научный и педагогический талант Сонни: с тем восхищением, с которым он читал лекции, с тем же самым восхищением он писал о темных текстовых фрагментах античных писателей миниатюрные экзегетические статьи. Именно этим объясняется, что со времени Первой мировой, когда университетские профессора, в частности Кулаковский, не могли активно творчески трудиться, живо переживая постепенный крах Российской империи, Сонни сочиняет рецензию,

¹ Асмус В. Ф. Философия в Киевском университете в 1914–1920 годах (Из воспоминаний студента) // Вopr. филос. — 1990. — № 8. — С. 98.

переросшую в самостоятельную монографию, на книгу казанского профессора-классика Д. П. Шестакова «Опыт изучения народной речи в комедии Аристофана» (1913), в которой, как всегда, «элегантно сердчая» на автора за его незнакомство с литературой вопроса, медленно, кабинетно излагает собственную точку зрения на предмет шестаковского сочинения. Эллин Аристофан волновал Сонни в 1915 г. больше, чем современные ему военные события. Это, очевидно, не либерализм в точном значении слова (хотя Сонни, как мы помним, был либерал), а, скорее, форма мировоззрения и мирочувствия человека, руководящегося ветхозаветной максимой: «и это пройдет». Ныне, после появления монографий (В. Н. Ярхо, 1954; С. И. Соболевского, 1957; Г. Ч. Гусейнова, 1988), наблюдения Сонни (наряду с рецензированной им книгой Шестакова) об аттическом разговорном языке по-прежнему представляются основательными и важными¹, но ориентированы на узкий круг узких специалистов. А таких специалистов, всегда немного: много их и не нужно.

Хлопоты. Забота о коллегах, как увидим сейчас из одного документа, было для Сонни обычным делом. Старший сын Кулаковского, Сергей Юлианович, в августе 1921 г. сдавал магистерские экзамены; он должен был отчитаться за курс сербского языка приват-доценту А. И. Дудке-Степовичу (директору Гимназии Павла Галагана). Мать Сергея Кулаковского скончалась в декабре 1914-го, отец — в феврале 1919-го. Двое сыновей остались в Киеве практически без средств. Сергей и Арсений (младший) в середине 1919 г. продали Университетской библиотеке домашнюю библиотеку отца², но денег не хватало. Ученая

¹ Однако, мне не посчастливилось обнаружить ссылки на указанные сочинения Шестакова и Сонни.

² На экземпляры книг с простеньким овальным штампом «Изъ книгъ

степень магистра и возможность преподавать давали даже в те безумные времена — начальную пору пролетарской диктатуры — известную материальную обеспеченность. Сонни на правах друга семьи Кулаковских обращается к Степовичу с письмом: «Будьте добры, не откажите проэкзаменовать стипендиата С. Ю. Кулаковского по сербской народной словесности (его вопрос: «Сербский эпос»). Экзамен назначен на среду, 17-го августа, в 10 часов (или 11) утра по офиц[иальному] времени, в здании В[ысших] Ж[енских] Курсов. Отъездом [Н. А.] Туницкого¹ Кулаковский поставлен в очень трудное положение: все экзамены сданы, кроме славянской литературы. Он должен пройти через факультетское заседание, которое состоится в среду же — в 2 часа. — Если ему не удастся сдать экзамен, он не может окончить своей магистерской подготовки. Очень прошу Вас, не откажите. Преданный Вам А. Сонни»². — «Дело мое спешное, — не слишком расшаркиваясь, пишет Кулаковский Степовичу, — и А. И. Сонни меня сам прислал к Вам. Я работаю день и ночь, и не могу сейчас терять много времени на беготню. Проф. Туницкий, как я Вам говорил, уехал до 18 сент[ября], а экзамен последний должен пройти до заседания, т. е. до 12 ч[асов] д[ня] 17 числа. Сделайте милость и придите выполнить эту формальность. <...> Неужели такой второстепенный для меня предмет не даст возможности закончить то дело, ко-

Юліана Кулаковського» до сих пор можно случайно наткнуться в НБУВ. Библиотека Кулаковского, к сожалению, отдельной коллекции «Вернад-ке» не составляет. См. также: [Житецький Г. П.] Придбані за гроші і подаровані бібліотеки і книжки: В бібліотеці проф. Ю. А. Кулаковського // Книжний вістник [sic!]. — 1919. — № 2. — С. 27–28.

¹ В 1918–1922 гг. Николай Леонидович Туницкий (1878–1934) заведовал кафедрой славистики Киевского университета.

² ИР НБУВ. Ф. 179, д. 789, л. 1.

торое уже через три дня нельзя будет провести?.. Убедительнейше прошу Вас прийти — мое положение иначе совсем безвыходное <...> Искренно уважающий Вас [С.] Кулаковский»¹. Дудка откликнулся, и на письме Сонни отметил: «Я проэкзаменовал магистранта Кулаковского. Отв. удовлетворительно»². *А. Степович*».

Если другие российские филологи-классики были одновременно и археологами, и историкам, Сонни был классическим кабинетным ученым и классическим университетским профессором классического немецкого образования: работа, наука, семья. Кажется, все прочее его не интересовало, «отдыхал» он не на археологических раскопках, отыскивая в земле неведомые греческие и латинские надписи (как, скажем, Кулаковский), а на пригородной даче (в Пуца-Водице) и престижных курортах — с женой и детьми. В течение тридцати лет читал одни и те же лекционные курсы (делая это блестяще), печатал в среднем в году по одной научной публикации. — Нормальный, размеренный ритм жизни профессора классической филологии, который лучше критиковал, «дегустировал», нежели писал сам: его разумных, взвешенных рецензий больше, чем собственных сочинений. Но критиковал Сонни мастерски, эрудированно, с увлечением. Его глубокая экзегетическая и герменевтическая эрудиция была потрачена преимущественно не на науку, а на воспитание будущих филологов и критические публикации, что лишь в последнюю очередь может быть ставимо в заслугу Адольфу Израилевичу как ученому. Однако к нему нельзя, пожалуй, применить сентенцию акад. Н. П. Кон-

¹ Там же. Д. 595, л. 1.

² В те годы еще сохранялась дореволюционная иерархия учебных оценок: 5 — «весьма удовлетворительно», 4 — «удовлетворительно», 3 — «посредственно», 2 — «плохо»; колом педагоги не пользовались.



Никодим Павлович Кондаков

дакова: «общее художественное невежество русской интеллигенции было настолько глубоко, что знакомые люди стеснялись даже задавать вопросы по искусству и его истории, равно как и по археологии»¹. И хотя Никодим Павлович имел в виду одесситов, на тогдашних киевлян это тоже, пожалуй, распространялось: люди со вкусом и знанием в области искусства — тонкая прослойка в жировом массиве общества. Адольф Израилевич как человек, отдавший должное и археолого-художественным вопросам, да и вообще как филолог-античник, который не мог не быть одновременно эстетиком, был еще как способен на тонкие замечания, скажем, и касательно архитектурных ордоров, и древнеегипетской иератической скульптуры, и слова как такового.

Но в этом, пожалуй, не вина, а беда большинства хороших знатоков языка: они знают, как надо говорить на том или ином языке (даже мертвом), как переводить

¹ Кондаков Н. П. Воспоминания и думы / Изд. подгот. И. А. Кызласова. — М., 2002. — С. 166.

тексты, чтобы это было хорошо, как преподавать язык окружающим. И все-таки они не только переносчики знания, но служители просвещения. Сонни знал, что делает — его немногочисленные, не утратившие за сто лет научной свежести публикации, свидетельствуют об этом.

Вот их перечень: чуть более полусотни.

Перечень опубликованных трудов

Адольфа Израилевича Сонни¹

Vergil und Trogus² // Rheinisches Museum fuer Philologie / Herausg. von O. Ribbeck und Fr. Buecheler. — Frankfurt am Main, 1886. — Bd XLI. — S. 473–480.

De Massiliensium rebus quaestiones: Dissertatio historica. — Dorpat: Karow, 1887. — 110 S. (на лат. яз.; магистр. дис.)

Рец.: *Cauer Fr.* Adolf Sonny, De Massiliensium rebus quaestiones: Dissertatio historica. Dorpat: Karow, 1887. 110 S. // Berliner Philologische Wochenschrift / Herausg. von Chr. Belger und O. Seyffert. — 1889. — № 12. — Bd IX. — S. 380–382.

Александризм и его влияние на римскую литературу: Вступительная лекция, читанная в Университете св. Владимира 12 сентября 1887 г. // УИ. — 1887. — № 10. — С. 1–12.

Несколько заметок к Эсхилу «Агамемнону» // ЖМНП. — 1887. — Май. — Отд. 2. — С. 8–18.

Firminus Maternus // AFL. — Lpz, 1887. — Bd 4. — S. 607.

Kakkabe–Akkabe und Aehnliches // Ph. — Lpz, 1889. — Bd II (48). — S. 559–562.

¹ За рамками перечня остался немецкий журнал, в котором печатался Сонни: «Neue Jahrbuecher fuer klassische Philologie» (Berlin), выпуски которого отсутствуют в киевских книгохранилищах. Указанные в списке сочинения А. И. Сонни de visu сличены с оригиналами.

² Эту первую статью 25-летнего Сонни до сих пор вспоминают в ученой литературе (см. выше, стр. 38–40).

Avien. or. mar. 340 und 362 // Ph. — Lpz, 1890. — Bd III (49). — S. 379.

Памятник древнегреческого искусства, хранящийся в музее Университета св. Владимира // ЧИОНЛ. — 1891. — Т. 5. — Отд. 1. — С. 18–21.

Киевское отделение Общества классической филологии и педагогики // ФО. — 1891. — Т. II. — Отд. 1. — С. 222–224 (конспект выступления на заседании Общества 7.11.1891 об *Ovid. Fast.* II 192).

[Рец.] М. V. [sic!] *Martialis epigrammata*. М. В. Марциала эпиграммы в переводе и с объяснениями А. Фета. Т. I и II. Москва, 1891 г. (XXIII+933 с.) // ФО. — 1891. — Т. II. — Отд. 2. — С. 189–202.

Три греческие эпиграммы в схолии архиепископа Арефы // ФО. — 1891. — Т. II. — Отд. 1. — С. 45–48.

К Аристофану (*Ran.* 19–20, 295, 302, 346, 404, 679, 914, 1001) // ФО. — 1892. — Т. IV. — Отд. 1. — С. 189–194.

Киевское отделение Общества классической филологии и педагогики // ФО. — 1892. — Т. III. — Отд. 1. — С. 191–193.

Несколько заметок к «Лягушкам» Аристофана (ст. 19–20, 295, 302, 346, 404 sqq, 679 sqq, 914, 1001) // ФО. — 1892. — Т. IV. — Отд. 2. — С. 189–194.

О культе египетских божеств на северном побережье Черного моря (Реф.) // ЧИОНЛ. — 1892. — Кн. 6. — Отд. 1. — С. 16–17.

Ad Aeschyli (*Agam.* 1316–1329 W, 1447 W) // ФО. — 1892. — Т. IV. — Отд. 1. — С. 200–201.

De duobus Agamemnonis Aeschyleae locis (1316–1329 W, 1447 W) // ФО. — 1892. — Т. IV. — Отд. 2. — С. 199–202.

К Аристофану (*Ran[ae, Характеры]*. 302.833) // ФО. — 1893. — Т. V. — Отд. 1. — С. 35.

К вопросу о культе египетских божеств на северном побережье Черного моря // ФО. — 1893. — Т. V. — Отд. 1. — С. 53–55.

Рец.: *Латышев В. В.* По поводу заметки проф. А. И. Сонни // ФО. — 1893. — Т. V. — Отд. 1. — С. 140–142.

Отзыв о сочинении магистранта Г. Павлуцкого «Коринфский архитектурный орден» с 50-ю рис. в тексте и 8-ю фототип. табл., 196 с., Киев, 1891 // УИ. — 1893. — № 4. — С. 37–43.

Ad Aeschylī *Agamemni* (v 589 W = 562 K) // ФО. — 1893. — Т. VI. — Отд. 1. — С. 17–18.

Ad Strattidis (fr. 25 K.) // ФО. — 1893. — Т. V. — Отд. 1. — С. 35.

Extrema linea (*Teren.* Eun. 640) // ФО. — 1893. — Т. VI. — Отд. 1. — С. 68.

[Рец.] I. M. Stowasser. Lateinisch-Deutsches Schulwoerterbuch. Wien, 1894 (XX+1092 pp.) // ФО. — 1894. — Т. VII. — Отд. 2. — С. 219–227.

Ad Herodam (I 78, IV 35 sqq) // ФО. — 1894. — Т. VIII. — Отд. 1. — С. 108–110, corrigendum: C. 201.

De libelli¹ *peri areton kai kakion* codice Mosquensi // ФО. — 1894. — Т. VII. — Отд. 1. — С. 97–102.

Die Feststellungen // Byzantinische Zeitschrift. — 1894. — Bd 3. — S. 602–604.

Lupana // ZRPh. — 1894. — Bd 18. — S. 145, 500. — *Совмт. Эдвард Вёльфлин.*

Pernix // ZRPh. — 1894. — Bd 18. — S. 452–453.

Supervacaneus, supervacuius, supervacuaneus // ZRPh. — 1894. — Bd 18. — S. 561–562.

О названии коринфского архитектурного ордена // ФО. — 1895. — Т. IX. — Отд. 1. — С. 40.

[Рец.] J. Poppelreuter. De comoediae atticae primordiis particulare duae. Diss. inaug., Berolini, 1895, 95 p. // ФО. — 1895. — Т. IX. — Отд. 2. — С. 8–14.

Ad Catulli (64, 401. 37, 10; 112) // ФО. — 1895. — Т. IX. — Отд. 1. — С. 26, 165–168.

Zur Ueberlieferungsgeschichte von M. Aurelius EIS SLYTON // Ph. — Lpz, 1895. — Bd VIII (54). — S. 181–183.

Ad Dionem Chrisostomum analecta / Scripsit Athaulfus Sonny //



Представление Государю Императору Николаю Александровичу киевских deputаций у Маринского дворца, 29.08.1911
Слева от Государя премьер-министр П. А. Столыпин



Похороны Петра Аркадьевича Столыпина.
Траурная процессия на Софийской площади, 9.09.1911

¹ Неизвестного автора, приписывается Аристотелю.



Разлив Днепра в Никольской слободке, на дальнем плане — правый берег, фото 1910-х из архива В. Е. Ясевича

УИ. — 1896. — Янв. — С. I–VI, 1–48; Февр. — С. 49–72; Март. — С. 73–104; Апр. — С. 105–130; Май. — С. 133–208; Июнь. — С. 209–242, II.

Ad Dionem Chrysostomum analecta / Scripsit Athaulfus Sonny. — Kioviae: Typis Zavadzianis, 1896. — VI, 241 p., [1] c. di tav. (на лат. яз.; докт. дис.)

Zu den Sprichwoertern und sprichwoertlichen Redensarten der Roemer [К пословицам и вошедшим в поговорку речевым оборотам римлян] // AFL. — Lpz, 1896. — Bd 9. — S. 60–62.

Ortus = Quelle // ZRPh. — 1897. — Bd 21. — № 9. — S. 585.

Zur Differenzierung der Latein. Partikeln [К дифференциации латыни. Частицы] // AFL. — Lpz, 1897. — Bd 10. — № 3. — S. 32–36.

К характеристике Диона Хрисостома // ФО. — 1898. — Т. XIV. — Отд. 1. — С. 13–36.

[Рец.] U. Wilcken. Die griechischen Papyrusurkunden. Berlin, P. Reimer, 1897 (60 стр.) // ФО. — 1899. — Т. XVI. — Отд. 2. — С. 11–16.



Железнодорожный вокзал, архит. М. В. Вишневецкий, 1870–1871 гг., с почтовой открытки 1900-х

Ad thesaurum proverbiorum Romanorum subindenda // ФО. — 1899. — Т. XVI. — Отд. 1. — С. 3–16, 133–146.

Zum Thesaurus Glossarum [К словарю глосс] // AFL. — Lpz, 1899. — Bd 12. — S. 543–545.

[Рец.] K. Buecher. Arbeit und Rhythmus: Zweite stark vermehrt Auflage. Leipzig, 1899 (VIII+412 стр.) // ФО. — 1900. — Т. XIX. — Отд. 2. — С. 46–50.

Доля и Горе в народной сказке // ЧИОНЛ. — 1904. — Кн. 19, вып. 4. — Отд. 1. — С. 24–28.

[Рец.] Томас Мор. Утопия (De optimo rei publici [sic!] statu deque nova Insula Utopia Libri duo illustris viri Thomae Mori Regni, britanniarum cancellari) / Пер. с лат. А. Г. Генкеля при участии Н. А. Макшеевой, СПб., 1903 // ЖМНП. — 1905. — Апрель. — Отд. крит. и библиогр. — С. 379–393.

Аммиан Марцеллин. История / Пер. с лат. Ю. Кулаковского, А. Сонни. — К.: Тип. С. В. Кульженко, 1906. — Вып. I. — XXXII, 288 с.: 3 л. карт. — Соавт. Ю. А. Кулаковский.

Горе и Доля в народной сказке // Eranos: Сб. ст. по литерату-

ре и истории в честь засл. проф. Имп. ун-та св. Владимира Николая Павловича Дашкевича. — К., 1906. — С. 361–425.

Горе и Доля в народной сказке // УИ. — 1906. — № 10. — С. 1–64.

Горе и Доля в народной сказке: Оттиск из «Университетских известий» за 1906 г. — К.: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1906. — [2], 64 с.

Отзыв о сочинении магистра С. Д. Пападимитриу «Феодор Продром: Историко-литературное исследование», Одесса, 1905, представленное на соискание степени доктора греческой словесности // УИ. — 1906. — № 8. — С. 1–10. — *Соавт. Ю. А. Кулаковский.*

Иосиф Андреевич Лециус // УИ. — 1913. — № 12. — С. 206–207.

Михаил Акоминат — автор «Олицетворения», приписываемого Григорию Паламе // Византийское обозрение. — 1915. — Т. 1. — Отд. I. — С. 104–116.

Аристофан и аттический разговорный язык: По поводу книги Д. П. Шестакова «Опыт изучения народной речи в комедии Аристофана», Казань, 1913 // ЖМНП. — 1916. — Янв. — Отд. классич. филол. — С. 6–34; Февр. — С. 35–90.

Аристофан и аттический разговорный язык: По поводу книги Д. П. Шестакова «Опыт изучения народной речи в комедии Аристофана». — СПб., 1916. — II, 90 с.

Фридрих Кауэр

Рецензия на монографию

Адольфа Сонни

«О массилийских спорных вещах»*

(1889)

* Печатается по: *Cauer Fr. Adolf Sonny, De Massiliensium rebus quaestiones: Dissertatio historica.* Dorpat: Karow, 1887. 110 S. // *Berliner Philologische Wochenschrift* / Herausg. von Chr. Belger und O. Seyffert. — 1889. — № 12. — Bd IX. — S. 380–382. — *Перевод с немецкого.*

Adolf Sonny, De Massiliensium rebus quaestiones.
Dissertatio historica. Dorpat 1887, Karow. 110 S.

Читатель не будет раздосадован, если во всех подробностях последует за остроумными и в то же время размеренными умозаключениями автора с целью обнаружить результаты, часто прячущиеся за его изобильной эрудицией.

Сонни начинает с анализа имеющейся у Юстина¹ истории о Массилии², которую тот приписывает Тимею³. Автор утверждает основание Массилии после Тимея и Аристотеля за 600 лет до Р. Х. и объясняет это, интерполируя противоположное свидетельство Фукидида (I 13)⁴. Оказываются возможными ранние сношения между Массилией и Римом. Массилийцы посредством борьбы обосновывали первые истоки ее колониальной империи лигурийцами. Сонни связывает рассказанную Юстином историю о победе над карфагенянами в 480 г. поражением этрусков и создание пунической морской державы. Он объясняет возобновление борьбы с лигурийцами вторжением галлов в южной Франции, которое закрепляет за началом IV в. Лигурийцы могли быть вынуждены этим событием к нападению на греческие прибрежные города, для обороны которых массилийцы среди вновь прибывших находили союзников.



Ульрих
фон Виламовиц-Мёллендорф
(Enno Friedrich Wichard Ulrich
von Wilamowitz-Moellendorff)

Скучное сообщение Юстина Сонни дополняет результатами, которые он выискивает в географической дидактической поэме у Руфа Феста Авиена⁵. В общем, следуя У. фон Мёллендорфу, иногда полемизируя с ним, чаще против [Г. Ф.] Унгера, Сонни рассматривает старый Перипл⁶, извлеченный из Авиеновых «Ora maritima»⁷, с дополнениями и интерполяциями более позднего автора. Цитаты из писателей V в. приписываются последнему. Солидаризясь с Унгером, Сонни заключает, что поскольку, в Перипле идет речь о лигурийцах на западе реки Роны, — составлен он был после первой половины V в. Но, с иной стороны, поскольку лигурийцы граничат еще непосредственно с иберийцами, которых не касаются галлы, и с морем, получается, что Перипл был написан в Южной Франции перед упомянутым вторжением галлов. Поскольку в тексте называются только греческие гавани, и едва ли упомянуты многочисленные колонии карфагенян на испанском побережье, текст не имеет теоретического поучения, а только практическое. <...> Таким образом, массилийское движение на испанском по-

бережье охватывало на исходе V в. только эллинов. Итак, Перипл должен был возникнуть в Массилии, и за это место дислокации текста говорит также особенная подробность: местности описываются от устья Роны. Сонни объясняет, что греческие колонии, о которых в Перипле говорится как о расположенных вдоль всего побережья Средиземного моря начиная от Испании, частично с использованием свидетельств писателей, для массилийских колоний должны быть признаны достоверными; поскольку это не поставляет нам никаких иных греков, которые могли бы владеть в V в. гаванями на испанском побережье. Распространение господства и торговли Массилии, каковую обличает Перипл, понятно как следствие достигнутой в начале V в. победы над карфагенянами. Написанный в 347 г. Перипл [Псевдо]-Скилицы больше не знает массилийской колонии западнее устья Роны. С одной стороны, крушение массилийского морского господства, которое должно было произойти перед 347 г., Сонни объясняет из продвижения вперед галлов также и на Пиренейском полуострове, с другой стороны, — заключает из успехов, которых карфагеняне снова достигли на исходе V в. Эфор⁸, указания которого сохранены Скимном⁹, выстраивает колонии Массилия снова западнее устья Роны, разумеется, в меньшей степени, чем Перипл и на более узкой территории. <...> При помощи сравнения указаний Гекатея¹⁰ и Скилицы, Сонни доказывает, что старые колонии вследствие галльского вторжения также были разрушены восточнее устья Роны, однако заменялись другими.

Сведения из использованных литературных источников дополняются изображениями на массилийских монетах, которые были в распоряжении автора, но, к сожалению, в недостаточном числе, случайные, хотя и надежно опубликованные. Он начинает со старейшей най-



Теодор Моммзен

денной около Марсея монеты, с оболов обычной валюты и большей частью азиатской чеканки. Эти монеты свидетельствуют, что движение между Массилией и западным побережьем Малой Азии около 500 г. до Р. Х. существовало. Точно так же и старейшие драхмы наверняка опираются еще на старую вавилонскую чеканку, более поздние — на чеканку римского викториата¹¹. Последние не могут характеризоваться как сделанные перед подчинением транспаданской Галлии благодаря римлянам. Чеканка драхм прекращается с захватом Массилии благодаря цезарю. Аналогичные изменения в чеканке и весе серебряных монет засвидетельствованы и медными монетами. Даже если бы на них портрет императора нигде не был обнаружен, Сонни, в отличие от Т. Моммзена, в качестве городской привилегии полагает, как следует из официальной чеканки, что Массилия была покорна Риму столь же незначительно, сколь и Афины. Обзор завершается обращением в колониях Массилии побитых монет. Право независимой чеканки было передано восточным колониям только цезарем, когда эти города отрывались от кор-

невого суверенитета. Напротив, уже в IV в. рынок оставил нам монеты поздней римской чеканки, датируемые временем после Карфагена, но перед 2-й Пунической войной. Варварские народы по образцу денег Массилии и ее колонии тоже чеканили монеты, место обнаружения которых доказывает их живое обращение — от Балеарских островов вплоть до Бретани, Германии, Швейцарии и восточных альпийских перевалов.

Примечания

¹ *Марк Юниан Юстин* (II или III в.) — римский историк, автор извлечения из не дошедшего до нас исторического труда в 44 книгах римского историка I в. Помпея Трога «*Historiae Philippicae*» («История Филиппа», имеется в виду Филипп II). Извлечение содержит всемирную историю, главным образом македонскую, от мифических времен до I в., без тщательной хронологической последовательности в изложении событий. Юстин сосредоточивается на описании занимательных и поучительных фактов, часто недостоверных, видны неточности при сопоставлении его истории с трудами иных античных писателей.

² Массалия, Массилия, нынешний Марсель — колония, основанная в VI в. бежавшими из своего отечества фокейцами на лигурийском берегу в Галлии при Галльском заливе, к востоку от трех устьев реки Роны, из которых самое восточное называлось Массалийским, на полуострове, соединенном с землей перешейком шириной в 1500 шагов, с гаванью Лакидом и хорошей крепостью. Город Массилия был одним из замечательнейших городов древнего мира и важнейшим городом римской провинции, хотя и не подчинялся римскому наместнику. Влияние Массилии на распространение греческих учреждений, нравов, искусств и наук было значительным, отчего город был любимым местопребыванием образованных римлян, живших в изгнании, например, Т. Анния Милон. Благодаренствующая под сенью римской дружбы, Массилия не могла не принять участия и в междоусобной войне Помпея и Цезаря: оба они оказали ей благодеяния, и потому город сперва хотел оставаться нейтральным; но когда

аристократическая партия позволила флоту Помпея войти в гавань, город после упорного сопротивления, особенно после двух морских сражений, в 49 г. был взят Требонием и Д. Брутом, и хотя Цезарь не тронул самоуправления массилийцев, наложил на них большие налоги. С этого времени Массилия потеряла политическое значение, но оставалась даже во времена Империи центром ученых занятий (по Любкеру).

³ *Тимей Сицилийский* (ок. 356 — ок. 260 до Р. Х.) — греческий историк. Автор ряда сочинений, из которых наиболее значительна «История» (в 38 или 43 книгах). Этот труд — главный источник не только по истории древней Сицилии, но и вообще Италии и эллинов на Западе, в частности, Карфагена. Тимей аккуратно собрал богатый материал, немало путешествовал, воспользовался надписями, изучал документы, касающиеся Карфагена и финикиян. В особенности замечателен его труд в отношении хронологии: Тимей положил в ее основу список победителей на Олимпийских играх и ввел, таким образом, тот счет по Олимпиадам, который надолго стал общепринятым в исторических сочинениях. Труд Тимея оказал влияние на последующих историков: из него черпали Диодор Сицилийский, Помпей Трог, Плутарх. «История» Тимея целиком не дошла, но благодаря ссылкам и цитатам древних ее отрывки сохранились.

⁴ «Наконец фокеяне, населяющие Массалию (600 г.), побеждали в морских сражениях карфагенян».

⁵ *Авиен* (Rufius Festus Avienus, вторая половина IV в. по Р. Х.) — римский «географический» поэт и писатель, родом из Этрурии.

⁶ Перипл — экфрастический жанр древнегреческой литературы, в котором описываются морские путешествия и каботажное плавание.

⁷ Поэма Авиена «*Ora maritima*» («Описание берега»), написанная ямбами и дошедшая в отрывках, содержит материал, почерпнутый из древних источников, хотя и искаженный позднейшими добавлениями.

⁸ *Эфор Кимский* (405–330 гг. до Р. Х.) — греческий историк родом из Эолийской Кимы, ученик Исократа. Его труд в 30 книгах был первой попыткой всеобщей греческой истории, отличался обилием собранного материала и исключением всего анекдотического и баснословного. Особенно обработанной была в истории Эфора географическая часть. Сочинением Эфора, не дошедшим до нас, усиленно пользовался Диодор Сицилийский.

⁹ *Скимн Хиосский*, географ неизвестного времени, сочинил географический очерк, который был разделен, вероятно, по трем частям света на три главных отдела: Европа, Азия и Ливия. Безосновательно приписывается Скимну такой же очерк, изложенный, по примеру афинянина Аполлодора, в комических ямбах, и заключающий описание берегов Европы от Геркулесовых столпов до понтийской Аполлонии. В поэтическом отношении оно без достоинств, но по содержанию — не без значения.

¹⁰ *Гекатей Абдерский* (IV–III вв. до Р. Х.) — греческий историк и философ, ученик Пиррона. Сочинения Гекатея, исторический труд «О египтянах» и философская утопия «О гиперборейцах», сохранились в выдержках у Диодора Сицилийского и Аполлония Родосского.

¹¹ Викториат — серебряная мелкая древнеримская монета, чеканка которой началась в 269 г. до Р. Х. и продолжалась примерно до начала II в. до Р. Х. (название происходит от изображения богини Виктории).

Адольф Сонни

Отзыв о сочинении магистранта Г. Павлуцкого
«Коринфский архитектурный орден»*
(1893)

* Печатается по: Сонни А. Отзыв о сочинении магистранта Г. Павлуцкого «Коринфский архитектурный орден» с 50-ю рисунками в тексте и 8-ю фототипическими таблицами, 196 стр. Киев 1891 г. // УИ. — 1893. — № 4. — С. 37–43.

Рассмотрев по поручению историко-филологического факультета сочинение приват-доцента Г. Павлуцкого «Коринфский архитектурный орден»*, поданное им для соискания степени магистра теории и истории искусств, имею честь представить следующий отзыв.

В то время как дорический и ионический роды архитектуры вызвали обширную монографическую литературу, коринфский строительный орден до сих пор еще не был сделан предметом специального исследования. Причину того отчасти, быть может, должно искать в меньшей самостоятельности коринфского зодчества сравнительно с остальными двумя архитектурными стилями классической древности. Тем не менее, особенности некоторых его строительных форм настолько значительны, что вполне оправдывать решимость г. Павлуцкого посвятить коринфскому ордену специальную монографию.

Работа г. П[авлуцкого] распадается на пять глав.

1) *О происхождении коринфской капители. Источ-*

* Григорий Григорьевич Павлуцкий (1861–1924) — историк искусства и архитектуры, филолог-классик, ученик Ю. А. Кулаковского. Доктор истории и теории искусств, заслуженный ординарный профессор по кафедре истории и теории искусств Университета св. Владимира. А. И. Сонин выступил одним из рецензентов по магистерской диссертации Павлуцкого «Коринфский архитектурный орден» (К., 1891).



*Григорий Григорьевич Павлуцкий,
автопортрет 1882 г.*

ники первого типа коринфской капители. Отвергнув сообщенный у Витрувия анекдот, по которому афинский зодчий и ваятель Каллимах случайно напал на форму коринфской капители¹, г. П[авлуцкий] ищет происхождение этой главной отличительной части коринфского стиля в восточном искусстве. Попытки в этом направлении были уже раньше; так напр., [Франц фон] Ребер (Gesch[ichte] d[er] Baukunst [im Alterthum, 1867], S. 336) сопоставляет коринфскую капитель с известными чашекообразными капителями египетского зодчества, допуская, однако, в то же время возможность происхождения ее от пальметтообразных украшений греческих надгробных памятников. Другие (напр., [Адольф] Фуртвенглер в «[Die] Sammlung Saburoff» [Berlin, 1883], S. 9) напротив, решительно утверждают связь коринфской капители с только что упомянутыми акротериями греческих стел, пытаясь по форме последних даже определить время возникновения коринфского стиля. Г. Павлуцкий ближе и точнее своих предшественников исследовал вопрос о происхождении коринфской капители, и ему удалось подвинуть его

значительно вперед. Он устанавливает *различное происхождение двух главных типов коринфской капители*. Характеристика двух главных форм дается на странице 17. В первой — не имеется завитков; «она походит на грациозную круглую корзину или раскрытую цветущую чашечку, нижняя часть которой убрана листьями аканта, а верхняя — рядом свободно поднимающихся тростниковых листьев». Во второй форме «листья аканта в несколько рядов окружают нижнюю часть корзины; из этого венка поднимаются вверх к четырем углам абака стройные и высокие волюты, поддерживаемые лопастными листьями; пространство между ними заполняет спиральный орнамент и пальметта». Относительно первого из этих двух типов г. Павлуцкий старается доказать, что он был навеян египетскими образцами, до некоторой степени приближаясь в этом отношении к мнению Ребера.

2) Во второй главе «*Источники второго типа коринфской капители*» г. П[авлуцкий] развивает *самостоятельную и оригинальную* мысль, что второй тип коринфской капители (с завитками) постепенно выработался из орнамента, весьма часто встречающегося на памятниках восточного искусства (ассирийского, египетского, финикийского, малоазиатского), а также греческого, который он, следуя [Людвигу] Зибелю, называет финикийским букетом (термин этот, впрочем, может считаться общепринятым в новейшей археологической литературе). Не задаваясь, конечно, вопросом о первоначальном значении этого орнамента, г. П[авлуцкий] доказывает, что уже в восточном искусстве он употреблялся для украшения колонн, то есть в виде капители. Греки взяли готовую, выработавшуюся в течение веков, форму и соединили ее с чашечкою или корзинкою первого типа. Таким образом, второй тип коринфской капители представляет собою собственно составную форму, происшед-

шую от соединения двух развившихся независимо друг от друга элементов. Автор мог бы подкрепить это свое мнение аналогией ионической капители, происшедшей, по исследованиям [Отто] Пухштейна, из соединения самостоятельных элементов киматия и волюты, а также указанием на композитную капитель римлян, состоящую из акантового венка коринфской капители и волют ионической.

Не вполне выясненным в весьма убедительном изложении г. Павлуцкого остается только вопрос о том, как, когда и где произошло соединение формы, выработанной из финикийского букета, венком акантовых листьев. Мне кажется, автор мог бы дать более удовлетворительный ответ на этот вопрос, если бы обратил внимание на исследование Фуртвенглера (Sammlung Saburoff) о формах пальметт, служащих украшением аттических стел. Подтверждением теории г. Павлуцкого о связи второго типа коринфской капители с «финикийским букетом» служат исследования Dieulafoy² о происхождении ионической капители, оставшиеся, к сожалению, неизвестными г. Павлуцкому³.

В той же самой главе г. Павлуцкий, воспользовавшись мыслью, высказанной французским ученым Шипье, с развитием именно второго типа коринфской капители связывает имя Каллимаха, которого Витрувий называет изобретателем коринфской капители вообще. По мнению г. Павлуцкого, Каллимах впервые на камне воспроизвел эту форму коринфской капители, до него изготовлявшуюся исключительно из металла.

Вообще вторая глава, на мой взгляд, самая ценная во всей книге, и представляет собою не лишенный значен-ия вклад в науку.

3) В третьей главе «*Строительные особенности коринфского ордена*» г. П[авлуцкий] прежде всего излагает вид и размеры коринфской капители и колонны вообще,

затем объясняет члены антаблемента коринфских построек, наконец описывает, остальные части зданий коринфского стиля. Основую при этом ему служит Витрувий, предписания которого он постоянно сравнивает с данными дошедших до нас памятников. Витрувий, между прочим, сообщает, что в некоторых случаях в антабменте коринфских построек встречались дорические элементы. К этому известию обыкновенно относятся весьма скептически; некоторые ученые прямо его отвергают. Г. Павлуцкий самостоятельными и вполне вескими соображениями доказывает возможность засвидетельствованного Витрувием явления и указывает памятник с аналогичным смешением деталей (стр. 79–84). Другим спорным пунктом в изложении Витрувия является вопрос о том, что должно понимать под *mutuli*, находившимися иногда, по Витрувию, на карнизах коринфских построек. Отвергая толкование, по которому *mutuli* — консоли или кронштейны, г. П[авлуцкий] соглашается с учеными, видящими в них «дорожки» (*vise*)⁴.

4) В четвертой главе «Памятники коринфского ордена» г. П[авлуцкий] дает подробное описание всех построек коринфского стиля, остатки которых уцелели на почве Греции, и даже таких зданий, которые заключали в себе детали в коринфском стиле. Сперва описываются памятники, относящиеся к эпохе самостоятельной политической жизни Эллады: храм Аполлона близ Фигалии, *tholos* в Эпидавре, храм Аполлона Дидимейского в Милете, Филиппейон в Олимпии, хорагический памятник Лисикрата, храм Зевса и Башня Ветров в Афинах. Затем разбираются памятники римской эпохи: Пропилеи в Элевсине, памятник Филопаппа и ворота Адриана в Афинах, т. наз. *Incantada* в Салониках и храм Зевса в Лабранде.

5) Пятая глава «Коринфский орден в Риме». В пер-

вой части этой главы г. П[авлуцкий] излагает различия в развитии коринфского стиля у греков и у римлян, и дает характеристику отличительных черт коринфского зодчества на почве Рима. Во второй части описываются главные памятники коринфского стиля в Риме, а именно: Пантеон, храм Марса Мстителя, храм Кастора и Поллукса, *aedes Divi Vespasiani* [храм Божественного Веспасиана], Форум Нервы, храм Фаустины и Антонина Пия.

Четвертая и пятая главы имеют почти исключительно компилятивный характер и написаны (особенно последняя) несколько небрежно. Тем не менее, описания памятников отличаются полнотой и наглядностью и являются новинкою в русской литературе⁵.

* * *

Нет сомнения, что работа г. Павлуцкого страдает весьма серьезными недостатками.

1) Автор не вполне знаком с литературой того предмета, о котором пишет; так, напр., для него остались неизвестными исследования Фуртвенглера и Dieulafoy, приведенные выше. Пытаясь установить время Каллимаха, он не обратил внимания на авторитетное мнение таких ученых, как [O.] Benndorf (*Athena — Nike*, S. 40) и [E.] Loewy (*Inscriften der [Griechischer] Bildhauer*, [1885], S. 331) и т. д. Правда, недочеты в этом отношении в значительной степени зависят от условий, при которых г. Павлуцкому пришлось исполнять задуманную им работу, то есть от неудовлетворительного состояния русских библиотек вообще, а киевских в частности, по части классической археологии. Требовать безусловной полноты материала значило бы отрицать вообще возможность занятий классической археологиею в России.

2) Гораздо более крупным недостатком представляется некоторая незрелость в способе изложения, сказыва-

вающаяся в сочинении г. Павлуцкого, отсутствие выдержки и чувства меры. Автор не господствует над материалом, а увлекает им. Он спешит высказать все, что ему самому кажется интересным, не принимая в расчет, входит ли сообщаемое в рамки избранной темы. Вследствие этого в его работе очень много излишнего, к делу не относящегося. Можно смело сказать, что, решись автор выбросить добрую половину, работа его значительно выиграла бы.

К числу самых разительных примеров длинноты и излишних отступлений принадлежит, напр., приведенная на стр. 5–10 надпись о постройке Эрехтейона; экскурс о торговых сношениях финикийян с Грецией (стр. 25–34); описание храма Аполлона близ Фигалии, в котором находилась одна лишь колонна коринфского стиля (стр. 103–109); сообщение о судьбе Пантеона в средние века и в эпоху Возрождения (между прочим, приводится даже надгробная надпись Рафаэля, сочиненная кардиналом Bembo, стр. 179) и многое другое. Правда, все это очень интересно и поучительно, и о многом, быть может, до сих пор не сообщалось русской публике; но автор забывает, что в данном случае его задача не состояла в том, чтобы просвещать русскую публику, а в том, чтобы написать ученое исследование. — Точно также и слог г. Павлуцкого указывает как бы на намерение автора писать для «образованной публики», а не для ученых специалистов: его можно назвать легким, как в хорошем, так и в дурном смысле⁶.

3) Похвалы заслуживает стремление автора всегда обосновывать свои суждения свидетельствами античных источников. Его книга испещрена цитатами из древних писателей, приводимыми *in extenso* [длинно, полным цитированием]. Вообще в авторе замечается интерес к филологической стороне разбираемого им вопроса, что в археологе, конечно, заслуживает полного одобрения.

Но несмотря на то, автор весьма часто обнаруживает отсутствие филологической выправки. Почти на каждой странице встречаются неточные или даже неверные переводы или другие недоразумения. В некоторых случаях автора ввели в заблуждение иностранные ученые, к которым он слишком доверчиво относится, особенно Перро и Шипье — весьма авторитетные археологи, но плохие филологи; так, напр., в толковании стихов Эсхила, стр. 37; в понимании мест Плиния, стр. 65, 67, 98 и т. д. Влияние французских источников сказывается и в неверной передаче многих античных собственных имен и терминов.

Эти недостатки, конечно, весьма значительны. Тем не менее, я считал бы возможным допустить г. Павлуцкого к защите представленного им сочинения. Я основываюсь при этом на следующих соображениях:

1) Г. П[авлуцкий] много поработал над своей диссертацией и обнаружил значительную начитанность. Как *specimen eruditionis* [свидетельство учености] его работа удовлетворительна.

2) Он доказал, что умеет разбираться в довольно сложных и запутанных вопросах и излагать их понятным образом. Его работа, в общем, удовлетворительна как *specimen iudicii* [пример решения].

Если он еще и не вполне усвоил точный, филологический метод, тем не менее видно, что он на пути к достижению этой цели, и некоторый недостаток в этом отношении искупается весьма ценною в археологии способностью: г. П[авлуцкий] смотрит на памятники как художник и многое видит, чего обыкновенный глаз не замечает.

3) По установившемуся в русских университетах обычаю, от магистерской диссертации новых самостоятельных результатов в научном отношении и не требуется. Тем не менее, труд г. Павлуцкого имеет свои достоинства и в этом отношении. Его исследование о происхож-

дении коринфской капители представляется действительным обогащением науки⁷.

Примечания

¹ Витрувий о Каллимахе: «...Третий же ордер, называющийся коринфским, подражает девичьей стройности, так как девушки, обладающие вследствие нежного возраста большею стройностью сложения членов тела, производят в своих нарядах более изящное впечатление.

Изобретение же его капители, согласно преданию, произошло таким образом: одна девушка, гражданка Коринфа, уже достигшая брачного возраста, заболела и умерла. После похорон ее кормилица, собрав несколько вещичек, которые эта девушка берегла при жизни как зеницу ока, уложила их в корзинку, отнесла к гробнице и поставила на могилу, а чтобы они подольше сохранились под открытым небом, покрыла их черепицей. Эта корзинка случайно была поставлена на корень аканта. Акант, придавленный этой тяжестью, пустил из своей середины листья и стебельки, которые, разрастаясь по бокам корзинки и прижимаемые в силу тяжести углами черепицы, принуждены были загнуться в виде оконечностей волют.

В это время Каллимах, которого афиняне за изящество и утонченность его мраморных работ называли Кататехнос, проходя мимо гробницы, обратил внимание на эту корзинку на нежность обросших ее молодых листьев. Восхищенный новизною вида и формы, он сделал для коринфян несколько колонн по этому образцу, определил их соразмерность и установил с этого времени правила для построек коринфского ордера» (*Витрувий*. Десять книг об архитектуре, IV 8–10).

² Имеется в виду французский археолог и инженер Огюст Марсель Дьеафуа (1844–1920), прославившийся раскопками в Сузе и пятитомной монографией «L'art antique de la Perse» (Paris, 1884–1889).

³ Dieulafoy (l'art Paersne, III, 1885) доказывает, что волюты ионической капители произошли из лепестков финикийского же букета путем аналогичного, но несколько иного процесса. Финикийский букет перешел в коринфскую капитель вследствие подчеркивания веерка, в то время как лепестки отступали на задний план; при образовании ионической капители,

напротив, выдвигалась лепестки, а веерок сокращался и в конце концов совершенно исчез. — *Прим. А. Сонни*.

⁴ Мутул (лат. *mutulus*) — плоский прямоугольный наклонный выступ под выносной плитой карниза над триглифами и метопами в дорическом (иногда в коринфском) ордере. На нижней поверхности мутул приделывались т. наз. гутты (капли). Прототипом мутул, возможно, служили выпуски стропил двускатной кровли в деревянном храмовом зодчестве эллинов.

⁵ В трудах отечественных архитекторов, занимающихся изучением античности, книга Г. Г. Павлуцкого о коринфском ордере не упоминается: какой-нибудь новый эрудит Сонни смог бы уличить их в научном невежестве. Но зачем?

⁶ Г. Г. Павлуцкий не преодолел (и не собирался преодолевать) этот «ученый недуг» и в докторской диссертации 1897 г. Вот фрагмент его письма: «Мы даем такое определение жанра: жанр есть реальная картина из повседневной человеческой жизни. Все общество есть область жанра, — от салона до кабака; жанрист изображает все, что он ежедневно может наблюдать вокруг себя: кузницы, станции железных дорог, помещения машин, мастерские, раскаленные печи плавилен, официальные galas [гала-концерты], салоны, сцены из домашней жизни, кофейни, магазины и рынки, скачки и биржи, клубы и бани, дорогие рестораны и мрачные народные харчевни, кабинеты частных людей и министров, возвращение из леса и прогулку на морском берегу, банки и игорные дома, будуары, казино, скюртки, монокли и фраки, балы, soirées [вечера], спорт, аудитория университетов и волшебную уличную толпу вечером, — словом, мирный быт всего человечества, к какому бы классу общества оно ни принадлежало и какой бы деятельностью ни занималось дома, в госпиталях, в кабаках, в театре, в скверах, среди бедных улиц и широких, освещенных электричеством бульваров» (*Павлуцкий Г. Г.* О жанровых сюжетах в греческом искусстве до эпохи эллинизма. — Изд. 2-е, исправ. и доп. — К., 1897. — С. 34). Помимо того, что в этой фразе перечислены реалии российского быта конца XIX в., сами по себе любопытные в общем списке, Григорий Григорьевич дает целостную и живую, на его взгляд, картину жанровой сюжетности эпохи реализма (правда, выпуская из виду военную тему). Сонни упрекает Павлуцкого в популярности письма, говоря, что сочинять на-

учные сочинения надобно только для ученого люда. Говоря так, он выпускает из виду, что можно соединить строгую научность письма с изящной словесностью, что научный текст можно рассматривать по ведомству его поэтики, а не только ученого веса. К сожалению, такое отношение к научному тексту довлеет до сих пор. Ученый люд в большинстве своем читает тексты предшественников (редко — коллег), а не чуждый научного интереса обыватель так и ходит непросвещенным. Нужно вменить в обязанность ученому мужу: коллега, пиши веселей и проще. Может, к твоей книжке и потянется читатель.

⁷ В этом тексте А. И. Сонни предлагает целую программу организации нормальной научной работы в области гуманитарных дисциплин. Взвешенность и уравновешенность частей порицания и похвал, мотивы, избранные для того и для другого, — образец того, как стоит и нынче сочинять краткие ученые рецензии. Порой кажется, что в этот текст можно запросто подставить иные предмет и объект исследования, отзыв готов и — никакого плагиата.

Адольф Сонни

Рецензия на «Латинско-немецкий
школьный словарь» Йозефа М. Штовассера*
(1894)

* Печатается по: Сонни А. I. M. Stowasser, Lateinisch-Deutsches Schulerwörterbuch. Wien, 1894 (XX+1092 pp.) // ФО. — 1894. — Т. VII. — Отд. 2. — С. 219–227.

I. M. Stowasser, Lateinisch-Deutsches Schulwoerterbuch. Wien, 1894 (XX+1092 S.)

Реформа гимназического преподавания, выдвинувшая на первый план чтение авторов, вызвала в литературе учебных изданий некоторого рода переворот. Употребляемые при преподавании учебники и пособия были подвергнуты тщательному пересмотру, и появилось великое множество сокращенных и упрощенных грамматик, приспособленных к новым требованиям сборников для перевода, подробных приготовленных по особому рецепту комментариев к древним авторам, справочных книг о древнеклассических реалиях, атласов с изображениями из быта греков и римлян и т. д. и т. д. Не коснулось новое движение только школьных словарей и метода их составления. Незыблемыми авторитетами школьной лексикографии по-прежнему оставались Бензлер для греческого языка и Георгес для латинского. Теперь, однако, движение, вызванное реформой гимназического преподавания, по-видимому, начинает распространяться и на эту область учебной литературы¹.

Первою попыткой преобразовать школьную лексикографию согласно с новыми требованиями является вышеприведенный труд венского ученого И. Штовассера, стяжавшего себе почетную известность своими остроум-

ными изысканиями в области латинской этимологии.

При составлении своего словаря г. Ш[товассер], конечно, имел в виду гимназии своего отечества, условия и нужды которых ему, более 15 лет занимавшемуся преподаванием древних языков в разных средне-учебных заведениях Австрии, хорошо известны. Тем не менее, его труд не лишен значения и для преподавателей других государств, и нам думается, что и отечественные педагоги не без пользы с ним познакомятся.

Еще до появления своего словаря г. Ш[товассер] на Филологическом съезде, происходившем в мае 1893 г. в Вене, прочел доклад о значении латинского лексикона для гимназического преподавания, в котором изложил свой взгляд на задачу школьной лексикографии. Доклад этот², вызвавший всеобщий интерес среди членов съезда, встретивших его шумным одобрением, содержит столько новых и плодотворных мыслей, что не безынтересно будет немного на нем остановиться. Г. Ш[товассер] придает латинскому словарю большое значение в деле гимназического преподавания. По его мнению, латинский лексикон должен быть центром и объединяющим звеном всех занятий латинским языком в течение всего гимназического курса. До реформ последних лет таким средоточием и связующим элементом в некоторой степени был учебник латинской грамматики³. Но, лишившись своего господствующего положения, грамматика потеряла и свою концентрирующую силу. Изучаемый в классе писатель, благодаря значению, которое новые учебные планы придали чтению авторов, является, правда, некоторым центром, вокруг которого временно группируются остальные занятия по данному языку. Но так как читаемый автор постоянно — с каждым годом или даже полугодием — меняется, то он не может представлять собою абсолютного центра. Таковым, по отношению к латинскому язы-

ку, по мнению г. Ш[товассера], призван быть латинский лексикон. Он должен объединять те разрозненные явления латинского языка, с которыми последовательно знакомится ученик в течение гимназического курса; он должен придавать приобретаемым мало-помалу сведениям некоторую цельность, удовлетворяя, таким образом, одному из основных требований современной педагогики — концентрации воспринимаемого. — Г. Ш[товассер] признает, что существующие школьные лексиконы мало пригодны для этой цели, так как в большинстве случаев ограничиваются сообщением только того значения, которое то или другое слово имеет в данном контексте. В противоположность такому пониманию задачи школьного словаря, г. Ш[товассер] ставит следующее требование: школьный словарь должен предлагать ученику *эволюцию всех значений каждого слова*. Исходя из основного значения, он должен объяснять, каким образом из последнего развились все остальные значения, показать, каким изменениям подвергалось коренное значение, и какие новые оттенки оно со временем принимало, прежде чем выработалось то значение, которое имеется в данном контексте. Таким образом, словарь должен вызывать в ученике осмысленное отношение к лексикографическому материалу, обыкновенно представляющемуся чем-то безжизненно сухим, и возбуждать в нем интерес к историко-генетической точке зрения.

Так как первоначальное значение слова вытекает из его этимологии, то лексикон не может оставить без внимания этимологию слов, сообщая, однако, только то, что действительно доступно пониманию ученика. (Санскрит и праарийский «язык корней» во всяком случае должны быть исключены.) Результаты новейших исследований в области словопроизводства и флексии должны быть сообщаемы настолько, насколько они способствуют

объяснению встречающихся в текстах классиков грамматических форм. Не менее важно, чтобы словарь обращал внимание ученика на возникновение и развитие синтаксических явлений, стараясь и тут возбуждать интерес в историко-генетической стороне вопроса и постоянно доказывая, что язык — живой организм, все части которого подвержены общему закону бытия.

Но не меньшее значение, чем историческая, имеет художественная, эстетическая сторона языка. Поэтому лексикограф обязан обращать серьезное внимание на *lūmina* [блестки], служащие для украшения речи, на всякого рода тропы и фигуры, на пословицы и поговорки и т. д.

Но всем этим, на взгляд г. Ш[товассера], далеко еще не исчерпано значение хорошего школьного лексикона. Кроме разных явлений языка, в нем должно быть обращено внимание и на реалии. В словаре ученик должен найти объяснение разных учреждений бытового и государственного характера, насколько то необходимо для точного определения значения относящихся к ним выражений. — Так как далее приводимые в словаре имена собственные (как личные, так и географические) не могут оставаться без краткого объяснения, то в нем приходится сообщать немало данных из политической истории, древней географии, мифологии, истории искусства и т. д. Таким образом, латинский лексикон является естественным центром всех тех сведений по бытовой, государственной, религиозной, художественной жизни римлян, которые усваиваются учеником в течение гимназического курса.

Но латинский словарь, по мысли г. Ш[товассера], имеет быть не только средоточием занятий латинским языком, но и соединительным звеном всех языков, изучаемых в гимназии.

Относительно греческого языка это само собою ясно. В латинском лексиконе можно уяснить как коренное

родство обоих классических языков, так и влияние греческого языка на латинский. Последнее сказывается не только в лексикологическом, но и в синтаксическом отношении: многие явления латинского синтаксиса, особенно у поэтов эпохи Августа и у позднейших прозаиков, остаются непонятными без сравнения с особенностями греческого словосочинения. Отмечая влияние одного языка на другой, легко указать на культурное влияние Греции на Лациуме. Сотни заимствованных у греков слов и выражений показывают, в какой степени эллинские бытовые и государственные учреждения, обычаи, религиозные представления, философские воззрения, фигуры эллинского пантеона, эллинские пословицы, басни, мифы и т. д. мало-помалу перешли к римскому народу.

Идти дальше греческой культуры г. Ш[товассер] считает неудобным ввиду того, что восточные языки не изучаются в гимназиях. Тем не менее, в некоторых исключительных случаях можно указать даже на влияние Востока на греко-римский культурный мир.

Так как римская культура, с своей стороны, в значительной степени повлияла на западную образованность средних веков и новейшего времени, то г. Ш[товассер] считает возможным, посредством латинского лексикона перекинуть, так сказать, маленький мостик от древней цивилизации к культуре новейшего времени. — Французский язык, помимо культурной связи французского народа с римским, стоит близко к латинскому еще и в лексикологическом отношении, вследствие своего происхождения. Но так как французский язык в австрийских гимназиях не изучается, то г. Ш[товассер] на этом вопросе не останавливается. — Тем большее значение придает он выяснению в латинском лексиконе того влияния, которое римская цивилизация оказала на немецкую культуру. В этом он видит одну из главных задач школьного латинского словаря⁴.



*Здание театра Н. Н. Соловцова,
архитекторы Г. П. Шлейфер, Э. П. Брадтман, 1898 г.*



*Владимирский собор, архитекторы И. В. Штром, П. И. Спарро,
А. В. Беретти, Р. Б. Бернгардт, К. Я. Маевский,
В. Н. Николаев, 1862–1882 гг., фото конца XIX в.*

Выяснив таким образом дидактическое значение хорошего латинского лексикона, г. Ш[товассер] выражает вполне справедливое желание, чтобы на него обращалось больше внимания как со стороны преподавателей, так и со стороны учебного начальства. Латинскому лексикону не подобает роль более или менее случайного пособия (Hilfsbuch); за ним следует признать права учебника (Lehrbuch), причем желательно, чтобы этот учебник не менялся в течение гимназического курса, то есть для всех учеников всех классов должен быть обязательно один и тот же лексикон⁵.

Г. Штовассер не ограничился теоретическими требованиями: по мере сил своих он постарался на деле показать, каким образом предъявляемые им требования могут быть осуществлены на практике. Как первая попытка преобразовать дело школьной лексикографии, составленный им словарь заслуживает полного признания. Он содержит, по меткому выражению одного критика, много нового — не в смысле нового лексикологического материала, а в смысле новых идей.

Постараемся вкратце отметить главные черты, отличающие новый словарь от прежних трудов этого рода.

Самому словарю предпосылаются предварительные понятия, *Vorbegriffe*, занимающие 13 страниц и разделенные на 46 параграфов. Это мастерский, сжатый, но весьма содержательный очерк главных основ лингвистики, поскольку они доступны умственному кругозору ученика и важны для правильного понимания тех явлений латинского языка, с которыми ученик сталкивается при чтении авторов. В первых 24-х параграфах дается характеристика системы латинских согласных (*Consonantismus*) и гласных (*Vocalismus*) сравнительно с немецким (§§ 1–8) и греческим (§§ 9–25) языками, причем, между прочим, говорится о двойном перебое звуков германских языков



Пешеходный мост в Царском саду над Петровской аллеей, инж. Е. О. Патон, 1912 г., фото из архива В. Е. Ясевича



Набережная Днестра в районе нынешней Почтовой площади, фото 1900-х из архива В. Е. Ясевича

(§§ 3–6), о влиянии греческого языка на латинский, о различии между *Erbwort* (§ 9), *Lehnwort* (§ 20), *Fremdwort* (§ 22), о так называемой народной этимологии (§ 24). §§ 25–31 посвящены теории значения слов; различаются общее (или основное) значение (*usuelle Bedeutung*) и случайное (*occasionelle Bedeutung*); последнее бывает специальным, ограниченным и переносным (= *metonymia*, *sunekdokke*). §§ 32–35 трактуют о юктапозиции и композиции и о связанных с последнею явлениях (элизия, диссимилиация, влияние акцента). В §§ 36–39 говорится о материальной и формальной ассоциации, в §§ 40–42 о формах, возникших под влиянием (неверной) аналогии, наконец, в §§ 43–46 об изоляции [исключении] и о так называемых «*Roeckbildungen*» [восстановлениях]. Все это изложено в высшей степени ясно и понятно, живо и интересно, всюду приводятся меткие и наглядные примеры; в то же время очерк стоит на высоте современной науки и содержит много самостоятельных взглядов и новых результатов. — В отдельных статьях словаря, в случае надобности, подаются ссылки на соответствующее параграфы «Предварительных понятий».

Другая особенность нового словаря состоит в том, что для каждого слова прежде всего дается краткая схема его значения, а затем уже приводятся места авторов, причем графические значки указывают на подразделения схемы. Это очень практическое нововведение, дающее возможность сразу, одним взглядом, уяснить себе, какие вообще значения имеет то или иное слово, и каким образом, путем каких постепенных изменений основного смысла, выработалось значение, подходящее к данному контексту. — На наглядное, по возможности полное изображение этого процесса развития, конечно, обращено главное внимание. Если происхождение слова известно, то прежде всего приводится коренное значение, вытека-

ющее из его этимологии. Так, напр., при *facilis* на первом месте стоит значение «удобоисполнимый» (*ausfuehrbar*, *thunlich*); при *manipulus* — «горсть», при *lanista* (= *daneistes*) — «прокатчик», при *recens* (*part. praes.* от **recere*) — «возвращающийся с чего-нибудь» (ср. *recens Roma*, *recens victoria*, *recens provincia*), при *vectigal* (от *vehere*) — «плата за провоз» (*Fuhrgeld*) и т. д. Если этимология слова неясна, то на первом месте ставится то значение, из которого легче всего могли развиваться все остальные.

Так, напр., за основное значение глагола *fungi* принимается «достигать», «получать», *tugkbano* (ср. *morte*, *fato fungi*); для *laetus* приводится первоначальное значение «откормленный» (*sues glande laeti*, *laeta armenta*); *mos* собственно = воля (*morem gerere*); *sperno* = удалять (*ius atque aequum se a malis spernit procul Ennius*); *damnum* = штраф (ср. *damno coerceri*), *forum* = свободное место (*forum sepulcri*), *clades* = повреждение и т. д. Если при этом основное, первоначальное значение какого-либо слова не встречается у писателей, читаемых в гимназии, но сохранилось у аканонического автора, то г. Штовассер не задумываясь переходит через границы школьного канона и приводит примеры из авторов, произведения которых не принято читать в классе.

Нет сомнения, что метод, которому следует г. Штовассер], единственно верный, и остается только удивляться, что он до сих пор не был применен. У Георгеса и в прочих школьных словарях латинского языка на первом месте обыкновенно ставится то значение, которое данное слово имеет в классической литературе, вследствие чего остальные значения того же слова представляются совершенно случайными и произвольными, не соединенными между собою логической связью.

При таком распределении значений ученик, конечно, не мог приучаться к правильному семасиологическо-

му мышлению и историческому пониманию языка. Как пример тому, в какой степени правильное размещение значений способствует выяснению логической их связи и исторического развития, да позволено будет привести схему значений слова *res*, данную г. Штовассером:

I *a* имущество, имение, состояние (*Besitz, Habe, Gut, Vermoegen*)

b meton. выгода, польза, интерес (*Vorteil, Nutzen Interesse*)

occ. причина, основание (*Ursache, Grund*)

c speciell 1) дело, предприятие (*Geschaef, Unternehmen, Angelegenheit*), 2) судебное дело, тяжба (*Rechtshandel*), 3) отправление, занятие (*Wesen, Thun, Beschaeftigung*)

II *a* вещь, предмет (*Ding, Sache, Gegenstand*)

b нечто, оно (*etwas, es, das*)

c collect. положение вещей, положение, состояние, обстоятельство (*Sachlage, Lage, Zustand, Verhaeltnisse*)

III *a* действие, поступок (*Tat, Handlung*)

b событие, происшествие (*Geschehnisse, Begebenheit, Ereignisse*)

pl. occ. история (*Geschichte*)

c факт (*Faktum, Tatsache*)

abstr. действительность, подлинность, истина (*Wahrheit, Tatsachlichkeit*).

До сих пор в словарях на первом месте ставилось значение «вещь», «предмет», причем о логическом развитии остальных значений и речи быть не могло.

Из остальных приемов, посредством которых г. Ш[товассер] старается развить в ученике историческое понимание языка, отметим только частые, весьма любопытные сближения и сопоставления с греческим и немецким языками. Обильные заимствования, в латинском из греческого языка, а в немецком из латинского, приводимые почти на каждой странице словаря, постоянно обращают внимание ученика на связь эллинской и римской

культуры, с одной, — римской и германской, с другой стороны.

Эстетической стороне языка уделено больше места, чем то обыкновенно принято в школьных словарях. С особенною тщательностью отмечаются пословицы и поговорки, встречающаяся у школьных авторов. Указания на *skhemata lexeos*, впрочем, могли бы быть полнее⁶.

Чтобы, наконец, дать понятие о том, в какой степени г. Ш[товассер] считает возможным сообщать в школьном словаре сведения реального характера, позволим себе привести по одному примеру из государственных древностей, мифологии и археологии:

Aedilis... Aedil (Beamter zur Erhaltung der Tempel: aedes)

Es gab urspr. 2 aediles plebeii, zugleich mit den tr. pl. 493 eingesetzt, die im Cerestempel das Archiv der Plebs bewahrten. Sie hatten die Stadtpolizei und die Spiele der Plebs zu besorgen. Da die Spiele grossen Aufwand machten, traten auch Patrizier als Bewerber um das Amt auf, so dass seit 366 noch zwei patrizische Aedilen gewaehlt werden, die aediles curules heissen, weil sie die sella curulis und die toga praetexta fuhren durften. Diese hatten die Besorgung der grossen Spiele (ludi Romani, Megalenses) und die Beaufsichtigung der patricschen Tempel. Gemeinsam waren den 4 Beamten: 1. die Erhaltung der oeffentlichen Gebaeude, 2. die gesummte Polizeiwirtschaft, besonders alles Marktwesen und die Sittenpolizei. Caesar ernannte zwei aediles cereales zur Besorgung der staetischen Verproviantierung (cura annonae) und der Ceresspiele (Cerealia).

Minerva... Goettin, Personifikation der menschlichen Intelligenz, Schuetzerin aller Kuenste und Wissenschaften, Gewerbe und Hantierungen. Ihr Hauptfest (quinquatus vom 19.III–24.III) feierten daher alle Kuenstler und Arbeiter. Die Schuljugend hatte ueber diese Tage Ferien. Spaetere Zeit identifizierte sie mit gr. Pallas Athene, so dass sie auch in Rom in Beziehung zum Kriege trat.

Myro... aus Eleutherae um 430, Zeitgenosse des Polycletus, geschickter Erzgiesser, bes. beruehmt durch realistische Athletengruppen und Thiergestalten (Bruellende Kuh, ihr Kalb saugend).

[*Эдилы...* Эдил (лицо, отвечающее за сохранность храма: aedes). Поначалу существовало два типа эдилов: плебейские эдилы, и примерно с 493 г. — сохранявшие архив плебса в храме Цереры. Они должны были обеспечивать городской порядок и организацию Плебейских игр, но для этого им надо было на этих играх победить. Поскольку игры были связаны с большими издержкам, патриции также встречались как претенденты на эту должность, так что начиная с 366 г. выбираются еще двое патрицианских эдилов, которые называются курульными эдилами, поскольку им полагались курульное кресло и тога с пурпурной каймой. На их ответственности лежало проведение больших игр (ludi Romani, Megalenses) и патрицианский надзор за храмами. Всего было четверо служащих: для охраны общественных зданий, торговая полиция, охрана рынков и полиция нравов. Цезарь назначал двух эдилов Цереры наблюдателями за снабжением города продовольствием (cura annonae) и играми Цереры (Cerealia).

Минерва... Богиня, персонификация человеческого ума, покровительница всех искусств и наук, бизнеса и делопроизводства. Ее основной праздник (quinquatrus с 19 по 24 марта) праздновали все художники и ремесленники. У школьников в эти дни были каникулы. В более позднее время ее идентифицировали с богиней Афиной Полиадой, поскольку она ассоциировалась в Риме также и с войной.

Мифон... из Элевтерия, около 430 г., современник Поликлета, искусный литейщик из латуни, знаменит фигурками известных групп спортсменов и реалистичными фигурками животных (корова, которую сосет теленок).]

Таким образом, труд г. Штовассера является смелой и, как нам кажется, удачно попыткой преобразовать и улучшить школьную лексикографию.

Помимо своего дидактического значения, новый словарь представляет значительный научный интерес. В нем предлагается множество новых этимологий и объяснений, отчасти блестящих и несомненно верных, отчасти рискованных и сомнительных, но всегда оригинальных и остроумных. Но на этой стороне труда г. Штовассера не будем останавливаться⁷.

В заключение не можем оставить неотмеченными внешние достоинства издания, отличную бумагу, крупный и четкий шрифт, тщательную корректуру; и тут сказывается основной принцип всей книги: *maxima debetur puero reverentia* [к детям нужно относиться чрезвычайно осторожно]. — В виду изящества издания цену 6 fl. 50 xr = 11 Mark за том в 1100 с лишком страниц in 4° в переплете должно признать весьма умеренной.

Примечания А. И. Сонни

¹ Как видно из Wochenschrift f. klass. Philol. 1894, 241, г. Harder готовит для прусских гимназий такой же «преобразованный» школьный лексикон, каким г. Штовассер подарил австрийские.

² Он напечатан в Трудах Венского съезда, которые, однако, насколько мне известно, еще не поступили в продажу. Я пользуюсь оттиском, любезно присланным мне автором. Страницы оттиска обозначены цифрами 182–195.

³ В австрийских гимназиях уже давно обязательно употребление одного и того же учебника грамматики во всех классах.

⁴ Такого значения латинский словарь у нас, конечно, не может иметь, ввиду того, что латинский язык и латинская цивилизация не повлияли непосредственно на русский язык и русскую культуру. Следы косвенного (через посредство Византии, южных славян, Польши, Германии, Франции) влияния тем не менее замечаются, и они весьма интересны в культурно-историческом отношении. Какие перспективы на сношения народов между собою открывают нам, напр., уравнения *царь* = *Caesar*, *церковь* =

[*суриаса*], *палата* = *palatium*, *коляда* = *calenda*, *фунт* и *пуд* = *pondo*, *кухня* = *coquina*, *мастер* = *magister*, *почта* = *posita*, *виши* = *versus*, *фортка* = *porta*, *набильон* = *papilio* и т. д. Роль соединительного звена между классической и современной культурой принадлежит в нашей гимназии греческому словарю. Тут почти непочатый любопытнейший материал ждет разработки. Какой ученик задумается, напр., над тем, что множество весьма употребительных, по-видимому, чисто русских слов — древнегреческого происхождения (как-то *тефем*, *корабль*, *каторга*, *тоня*, *фонарь*, *фитиль*, *кровать*, *лохань*, *тетрадь* и т. д.)? [См. главку «Старые знакомые» в книге М. Л. Гаспарова «Занимательная Греция». — «Большинство слов, о которых мы говорили раньше, были такие научные, что всякому было ясно: они не русские, они заимствованные, с греческого — так с греческого», и Михаил Леонович указывает на этимологии ада (а-ид-ес, невидимое), га-за (хаос), гитары (кифара), игрека (и греческое), идиота (идиос, свой, частный, особый), извести (а-сбестос, негашеная), корабля (карибон, карабос, краб), «куролесить» (кирие, элейсон; Господи, помилуй), шпаргалки (спарганион, детские пеленки), а также: что общего между гимназией и гимнастикой, космосом и косметикой, метро и метрополитом, театром и теорией, трапедией и трапезой, энергией и каторгой, металлом и параллелью, плазмой и пластилином, стихами и стихией (стихос — ряд; стихи — ряды, которыми располагаются строчки поэтического текста; стихи — простейшие единицы, из которых выстроены эти ряды, попросту буквы; эль-эм-эн-т — латинский перевод слова «стихия», искусственно составленного из названий первых букв второго десятка латинского алфавита) итд. — Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. — М., 1996. — С. 300–302, 369–371.]

⁵ Говоря о значении лексикона в преподавании, г. Ш[товассер] затрагивает два животрепещущих вопроса школьной практики. Он указывает, во-первых, на неудобства, сопряженные с употреблением специальных словарей (к отдельным писателям) и на вытекающий из них вред. Только для первого читаемого в гимназии автора, то есть для Корнелия Непота, он допускает употребление специального словаря, так как на той ступени развития ученики еще не умеют пользоваться общим лексиконом. Во-вторых, г. Ш[товассер] решительно высказывается против комментариев, со-

ставленных по так наз. методу Пертеса. Они, по его мнению, не только не приносят пользы, но даже причиняют прямой вред делу преподавания. «Ich stehe nicht an, von vorneherein zu erklären, dass ich in diesen Schulkomentaren Unternehmungen sehe, die fuer einen nachhaltigen Unterrichtserfolg gefaehrlich, den wahren Interessen des Unterrichtes abtraeglich sind, und dass nach meiner Auffassung diese Kommentare nichts sind, als eine tiefbedauerliche Konzession an die Gegner der klassischen Studien (стр. 192)... Das Um und Auf dieser Arbeiten besteht darin, fuer den jeweiligen Bedarf des Augenblickes frischweg eine froehliche Uebersetzung zu formulieren. Die lerne du nun auswendig, lieber Schueler; sag sie morgen deinem Lehrer auf, und dann — nun dann seid ihr alle beide betrogen» (стр. 193) [Я не стесняюсь заявить с самого начала, что я узреваю в этих школьных комментариях предприятия, которые для стойкого учебного успеха опасны, для подлинных интересов урока вредны. И я считаю, что эти комментарии, на мой взгляд, как глубоко досадные уступки — враги классического исследования (стр. 192)... Это придет в конце, и такая работа лишь для конкретной потребности момента сможет смело дать успешный перевод. Заучиваете наизусть, дорогие школьники, если ваш учитель велит учить на завтра, но в конце концов вы будете обмануты оба.]. Лишь в исключительных случаях г. Ш[товассер] допускает употребление подобного рода комментариев, именно при переходе от легкого автора к более трудному, и то только на первых порах, для введения ученика в нового писателя. Так, напр., он признает целесообразным после «Анабасиса» [Ксенофонта] начать чтение «Одиссеи» по таким комментированным изданиям.

⁶ Так, напр., не обращено внимания на аллитерацию в соединениях *mater Matula*, *pater patratus* и др.; не отмечена игра слов *oratio* — *ratio*, *spes* — *res*, встречающаяся даже у Цицерона, и многое другое.

⁷ Считаем, однако, нелишним заметить, что сомнительные этимологии приводятся г. Штовассером в такой скромной форме (обыкновенно в виде вопроса), что ни в каком случае не могут сбить с толку даже ученика.

Адольф Сонни

О названии коринфского
архитектурного ордена*
(1895)

Под этим заглавием г. Гр. Павлуцкий поместил в Киевских Университетских Известиях, 1895, № 4, статейку¹, в которой пытается доказать, что коринфский орден получил свое название от porticus Octavia, quae Corinthia sit appellata a capitulis aereis columnarum (*Plin.*, N. H. XXXIV 3, 7 § 13). По мнению г. П[авлуц]кого, портик был назван по *материалу* (коринфская бронза) его капителей. «С течением времени первоначальное значение этого названия было забыто, и имя Corinthae стали применять ко всем колоннам с цветочными капителями, не обращая более внимания на материал последних» (стр. 9). Признаюсь, что это объяснение на первый взгляд показалось мне весьма правдоподобным. Впоследствии, однако, явилось сомнение на основании одного древнего свидетельства, на которое, сколько мне известно, еще не было обращено внимание в связи с вопросом о названии коринфского ордена. Г. Павлуцкий говорит, стр. 7: «Очень возможно, что коринфский орден не имел у греков названия и что термин *Corinthium genus*, употребляемый Витрувием, обязан своим происхождением римскому времени. В пользу этого мнения говорит прежде всего то обстоятельство, что ни у одного из греческих писателей времени сколько-нибудь древнего мы не находим ни малейшего намека на *kiones* или *kephalai Korinthiourigeis*. В первый раз название коринфских колонн мы встречаем у Витрувия».

* Печатается по: Сонни А. О названии коринфского архитектурного ордена // ФО. — 1895. — Т. IX. — Отд. I. — С. 40.

Однако у Стефана Византийского s. v. *Korintbos* мы читаем следующее: *Apollonios o Rodios kanopo deuthero Korinthiourges esti kionon skbema*. Выражение это едва ли можно понимать иначе, как в смысле технического обозначения коринфского архитектурного ордена. Так как этот термин встречается уже у Аполлония Родосского, то он во всяком случае на целое столетие древнее сооружения портика Октавия.

Примечание А. И. Сонни

¹ Имеется в виду: *Павлуцкий Г.* Заметка о названии коринфского архитектурного ордена // УИ. — 1895. — № 4. — С. 1–9.

[См. также отзывы: *Прахов А. В.* Отзыв о сочинении г. Г. Павлуцкого, представленном в историко-филологический факультет Университета св. Владимира для получения степени магистра истории и теории искусства, под заглавием «Коринфский архитектурный орден», Киев, 1891 // УИ. — 1893. — № 4. — С. 1–36; *Сонни А. И.* Отзыв о сочинении магистранта Г. Павлуцкого «Коринфский архитектурный орден» с 50-ю рис. в тексте и 6-ю фототип. табл., 196 с., Киев, 1891 // УИ. — 1893. — № 4. — С. 37–43 (см. выше, стр. 105–116); *Бубнов Н. М.* О книге Гр. Павлуцкого «Коринфский архитектурный орден», Киев, 1891 // УИ. — 1893. — № 4. — С. 44–49.]

Адольф Сонни

К характеристике Диона Хрисостома* (1898)

* Из реферата, читанного в С.-Петербургском Обществе классической филологии и педагогики. — *Прим. А. Сонни.*

[Печатается по: *Сонни А. К характеристике Диона Хрисостома* // ФО. — 1898. — Т. XIV. — Отд. I. — С. 13–36.]

...Имя Диона Хрисостома не из тех, которые знакомы всякому образованному человеку. Это — писатель малоизвестный в самых тесных кругах специалистов. Даже в более подробных руководствах по истории греческой литературы ему обыкновенно отводится весьма скромное место и дается одностороннее освещение. Его рассматривают преимущественно как ритора, как софиста, не обращая внимания на другую, главную, сторону его деятельности — на философское содержание его произведений. — Правда, Дион Хрисостом не принадлежит к числу первоклассных литературных гениев или творцов в области человеческой мысли. Да и жил он не в эпоху расцвета греческой культуры, а в период последнего подъема эллинского духа, того подъема, который один остроумный исследователь удачно назвал «бабьим летом» греческой литературы: он один из лучших представителей того возрождения греческой образованности, начало которого совпадает с началом нашей эры.

В то время прежние центры умственной жизни греков — Афины, Александрия, Пергам — давно утратили свое значение. Их сменил в этом отношении Рим, вместе с владычеством над вселенной захвативши и гегемонию в области мысли. Сюда, в столицу «земного круга», стали стекаться все духовные силы провинций, мыслители и литераторы всего образованного мира. Первое место среди

них и по числу, и по таланту занимали, конечно, греки.

Но роль Рима в деле возрождения греческой образованности не ограничилась одним лишь общим покровительством науке и искусствам. Его лучшие умы уже в конце республиканской эпохи сами обратились к изучению выдающихся произведений аттической литературы V и IV веков, и *своим примером* побудили греков последующего времени вспомнить о забытых сокровищах родной словесности. Изучением аттических образов преимущественно и вызван был подъем духовной жизни, замечаемый среди греков в первом столетии нашей эры, и это-то обстоятельство и дает нам право назвать начавшееся тогда умственное и литературное движение *возрождением*.

Изучение повело к подражанию, прежде всего, конечно, внешней форме. Известно, что со времени Александра Великого и его преемников, распространивших эллинскую культуру на большую часть Азии и Африки, возник особый греческий диалект, т. н. *общий говор*, на котором сообщалось между собою разношерстное население эллинизированного мира. Даже для литературных целей употреблялось это новое, более или менее вульгарное наречие. Возобновив знакомство с авторами V и IV веков, греки I столетия по Р. Х. вполне естественным образом возымели желание сблизить свой литературный язык с языком славных писателей древнего времени. Программа обновления литературного языка, формулированная в самом начале нашего периода Дионисием Галикарнасским, отличается, сравнительно, умеренностью. Придавая главное значение изучению содержания аттических произведений, он не требует слепого подражания их форме, а довольствуется очищением современной речи от неуместных выражений неправильных форм и ошибочных конструкций, рекомендуя легкое подновление словаря аттическими речениями. Его идеал —

эллинизм, который он противопоставляет варваризму и солецизму. Последующие деятели на поприще литературы пошли дальше. Они отвергли эллинизм, противопоставляя ему *аттицизм*. Для них представлялось идеалом писать так, как писали аттические авторы V и IV веков, не употребляя ни одной формы, ни одного слова, ни одного оборота, которые не встречались бы в произведениях, принятых ими за образец. Своего апогея достиг этот бездушный формализм в половине II века по Р. Х. Многочисленные руководства, словари и другие пособия, дошедшие до нас из исхода древности, свидетельствуют об увлечении и настойчивости, с которой преследовалась намеченная цель. Известно, что это стремление создать искусственный книжный язык путем подражания аттическим писателям никогда не угасало: оно проходит через всю византийскую эпоху и продолжается до сих пор в современной нам Греции.

Подъем эллинского духа, вызванный изучением славных литературных произведений прошлого, оживил единственный вид литературы, еще не вполне заглухший к тому времени. Это было азиатское красноречие, некогда процветавшее в городах Малой Азии, откуда в начале I столетия до Р. Х. было перенесено на почву Лациума, затем пришедшее в упадок и влачившее скромное существование в школах риториков. Под влиянием нового умственного движения азиатское красноречие возродилось в несколько измененном виде и дало то любопытное, хотя и малосимпатичное, литературное течение, которое известно под названием *второй софистики*. — В римском красноречии существовал непримиримый антагонизм между Asiatici и Attici; в греческой же литературе произошло соединение обоих направлений: родная дочь азиатского красноречия подчинилась влиянию аттицизма, и от союза с ним получила новую силу и новый блеск.

Уже в силу своего происхождения вторая софистика имела почти исключительно *риторический* характер, и тем существенно отличалась от софистики V века, имевшей универсальный, преимущественно философский характер.

Не придавая значения содержанию, софист эпохи римской империи преследует единственную цель — блеснуть внешней формой речи, выставляя на вид свой чисто аттический язык, свой изысканный, цветистый слог, свое умение говорить без приготовления о любом предмете, пленяя слушателей сладкими модуляциями голоса и эффектной жестикуляцией. Являясь свободными художниками слова, представителями самодовлеющего искусства речи, софисты видели в содержании лишь субстрат стиля и выбирали для своих риторических упражнений подчас самые пустые, самые нелепые темы: составлялись, напр., панегирики в честь перемежающейся лихорадки, в честь плешивости, сочинялись хвалебные описания мухи, мыши, паука и т. д.

А между тем в обществе того времени накопилось немало вопросов, настоятельно требовавших решения. Это был период нравственного кризиса. Прошедши долгий путь умственного развития и неоднократно разочаровавшись в своих идеалах, человечество дозрело до постановки самых серьезных, самых жгучих вопросов, которые только могут волновать общественную совесть: о сущности и цели жизни, об истинном благе человека, о пути, ведущем к этому благу. Конечно, уже и в прежнее время избранные умы задавались подобными вопросами, ища моральных устоев для жизни, пытаясь «найти какую-нибудь твердую точку опоры для нравственного бытия человека»¹. Но в эпоху, о которой мы говорим, эти вопросы стали волновать самые широкие слои общества: «повсеместно чувствовалась жажда обновления, возрож-

дения»², везде проявлялось горячее желание услышать «новое слово». Нам, людям конца XIX века, нетрудно понять настроение тогдашнего общества. Ведь мы сами живем в эпоху подобного умственного брожения: те же самые вопросы снова поставлены на очередь и снова мучительно требуют себе ответа.

За разрешение сомнений, тревоживших общество I века по Р. Х., взялась философия. Философия того времени уже не стремилась к познанию вещей: отвернувшись от точной науки, не придавая значения теоретическому знанию, отказавшись от умозрительного размышления и метафизических тонкостей, она стала на чисто практическую почву и выдвинула на первый план этику. Вопрос о субъективном благе человека сделался главной целью философского мышления. К какой бы школе ни причислял себя философ того времени, он видит свою первую задачу в том, чтобы доставить человеку внутреннее счастье.

И действительно, мы встречаем среди философов этой эпохи целый ряд истинных врачевателей души человеческой, умевших разрешать мучительные сомнения, исцелять нравственные раны и доставлять душе спокойствие и мир. Но их влияние ограничивалось немногими приближенными, жившими и вращавшимися в их обществе. Философы вроде Секстия или Димитрия, о которых с таким благоговением говорит Сенека, или вроде Демонакта, светлую личность и возвышенную мораль которого нам рисует Лукиан, преподавали свое учение избранным умам: они чуждались толпы, избегали обращаться к более широким слоям общества, не трудились на пользу всего человечества.

Причину отчужденности философии от широкой публики должно искать в отрицательном отношении представителей философской мысли к риторическому, то есть литературному образованию. Между философами

и софистами эпохи Римской империи существовала открытая вражда, в которой возобновился старый антагонизм между художниками чисто формальной речи и исследователями сущности вещей, проявлявшейся уже в цветущий период аттической образованности, в V и IV веках. Отвергая риторическое образование, недружелюбно относясь к литературным стремлениям, философы императорского времени оказались не в состоянии облекать свои мысли в художественную форму, излагать их привлекательным, изящным слогом. Вследствие этого деятельность многих выдающихся представителей тогдашнего философского движения прошла бесследно для огромного большинства современников и для потомства. Даже возвышенное учение Эпиктета сохранилось только благодаря тому случайному обстоятельству, что в числе его учеников оказался человек, обладавший некоторым литературным талантом (Арриан), который и взял на себя труд придать мыслям своего учителя литературную форму.

Значение Диона Хрисостома состоит именно в том, что он в своем лице соединил оба направления, на которые распалась умственная жизнь его времени. Он принадлежит к числу немногих философов, вполне владевших внешними средствами и приемами риторики, к числу тех немногочисленных *philosophisantes en doxi tou sophisteuein*, о которых упоминает один древний критик.

Дион родился в небольшом воинском городе Прусе и происходил из знатного и зажиточного греческого рода. В молодости он получил риторическое образование и усердно изучил лучшие произведения аттической литературы и греческой поэзии вообще. Он сделался софистом, и еще в юные годы составил себе имя своим красноречием. Он разделял все увлечения и заблуждения софистики, что, между прочим, доказывают некоторые обработанные им в этот период его жизни темы, названия

которых случайно сохранились. Мы встречаем в числе их «Хвалебное описание попугая», «Хвалебное описание комара» и т. д. Как все софисты, и Дион в начале своей деятельности относился враждебно к философам: он написал особое сочинение «Против философов», а другое — против выдающегося представителя тогдашней философской мысли, «Против Мусония». — По примеру софистов он пустился в странствования, и выступал в разных городах, выставляя на вид свое ораторское искусство и обильно пожиная лавры за свое умение красноречиво говорить о самых пустых предметах. Конечно, и его повлекло в столицу мира и средоточие тогдашней умственной жизни. В Риме Дион близко сошелся с одним высокопоставленным любителем литературы. Эта дружба оказалась роковой для Диона. Его знатный друг, находившийся в родстве с императорским домом, навлек на себя подозрение Домициана и был казнен по его повелению. Сам Дион едва избег гнева разъяренного тирана и был изгнан из Рима и Италии; кроме того, ему было запрещено пребывание в родном городе.

Обрушившееся на него несчастье, по собственному признанию Диона, произвело коренной переворот не только во внешней его жизни, но и во внутренних убеждениях и во всем образе мыслей: напыщенный софист обратился в смиренного философа. Надев на себя худое платье, взяв посох и суму, он под видом нищего странствовал по белу свету, присматриваясь к жизни людей, изучая их нравы и стремления и в то же время углубляясь в самого себя. Таким образом, он дошел до границ Римской империи, посетил страну гетов, собирая материал для истории этого интересного народа, побывал на юге России, в греческой колонии Ольвии у устья Днепра, о географическом положении и внутреннем состоянии которой мы находим драгоценные указания в его 36-й речи.

Бедствия Диона окончились только по смерти Домициана, когда на императорский трон был возведен Нерва, лично знавший и ценивший Диона. Тогда он мог вернуться на родину и в Рим, где, по-видимому, и провел большую часть остальной своей жизни, пользуясь милостью императоров Нервы и Траяна. Продолжая тем не менее носить скромное одеяние философа, он проповедовал мудрость в разных местах Римской империи, в Олимпии, Афинах, Александрии, [на] Родосе и во многих городах Малой Азии, видя в поучении людей исполнение возложенной на него божеством миссии.

Как замечено выше, все философские школы в эпоху империи старались стать на практическую почву. Но дальше всего от всякого умозрения и ближе всего к действительной жизни стояла *киническая философия*, вследствие своей доступности пониманию бедного и необразованного люда и благодаря тому сочувствию, с которым она относилась к социальному положению низших классов общества. К этой философии униженных и угнетенных примкнул Дион после своего обращения.

Кинизм возник в начале IV столетия до Р. Х. как реакция против культурной утонченности, проявлявшейся в это время среди греков. Когда цивилизация достигает наибольшего развития и особой интенсивности, передовые умы спрашивают себя: что дает увеличение культуры для личного счастья людей? Поставив такого рода вопрос, они видят, с одной стороны, что так называемые «блага культуры» доступны лишь весьма немногим избранным, тогда как положение народной массы несколько не улучшается; с другой стороны, они убеждаются, что и то незначительное меньшинство, которое одно в состоянии пользоваться всем, что дает культура, далеко от счастья: напротив, оно испытывает страдания, неведомые тем, кто лишен мнимых благ цивилизации. Вывод один:

культура не нужна, она вредна, она виновница неравенства среди людей, от нее исходит всякое зло. Тогда раздаётся проповедь о необходимости возвращения к природе, к первобытному, некультурному состоянию.

Для Греции этот критический момент настал вскоре после окончания Пелопоннесской войны. Антисфен, ученик Сократа, впервые формулировал этот протест против условий, созданных цивилизацией. Он и его последователи, Диоген, Кратет, Метрокол, Мониим не ограничивались теоретическим отрицанием культуры, а проводили свое учение практически в собственной жизни. Выставляя аскетизм как высший моральный принцип, они сами жили мучениками отстаиваемой ими нравственной идеи. Отказываясь от всех удобств, доставляемых культурой, они добровольно избрали жизнь нищих, и закалялись и упражняли свою нравственную силу в перенесении всякого рода лишений, невзгод и трудов. Стремясь к полному равенству всех людей, киники не требовали равенства имущества, а [требовали] равенства нищеты. Проведение этого равенства они начинали с самих себя, ввиду чего нельзя не признать за ними нравственного геройства.

Кинизм оказал огромное влияние на все философские школы; но ближе всех к нему стоят стоики, почти целиком усвоившие этику киников. Новое значение кинизм получил в начале нашей эры. Оно и понятно. Ведь тогда римская культура достигла своего апогея, а в силу известного закона должно было явиться обратное течение. Под влиянием именно кинизма философия всех школ в I столетии по Р. Х. получила выше отмеченное направление к практической этике. Стоицизм же того времени столько у него заимствовал, что в некоторых случаях, как, напр., относительно Эпиктета, трудно решить, имеем ли мы дело со стоиком или с киником.

Идеи, легшие в основу кинизма, знакомы и нам, лю-

дям новейшего времени. Протест против утонченности культуры, возникший в прошлом столетии во Франции, красноречивый призыв к природе, раздавшийся из уст Руссо, его приглашение вернуться к первобытному, испорченному цивилизацией состоянию, — разве это не та же самая реакция, которую мы наблюдаем у греков IV века до Р. Х. и у римлян первого века нашей эры? Можно было бы доказать даже преемственную связь между этим течением внутри французского просвещения и античным кинизмом³. Еще ближе к последнему стоит современное нам учение, отрицающее пользу культуры. И тут можно было бы указать не только на общие причины, но и на общие источники...

Дион вполне разделяет основные положения кинизма. Прежде всего, он солидарен с ним в отрицании культуры. В VI речи он заставляет выводимого им Диогена высказывать следующие мысли, близко напоминающие Руссо и Толстого: в первобытном состоянии, когда люди не знали даже употребления огня, они жили вполне счастливо. Многообразные ухищрения (*panourgia*) цивилизации, бесчисленные изобретения и приспособления только ухудшили их положение и сделали их несчастными, потому что «не на нравственное усовершенствование употребляют люди свои познания, а на удовлетворение низменных инстинктов» (§ 28). Культура изнеживает человека физически и морально. «Имея возможность всегда разводить огонь, располагая запасом одежды, имея в своем распоряжении дома, люди при малейшем ощущении холода прячутся от свежего воздуха и делают свое тело хилым и неспособным переносить непогоду; имея летом возможность всегда укрываться в тени и пить сколько угодно вина, они не знают загара, не знают естественной жажды и живут в затворе, бледнолицые, как бабы, с телом непривычным и неспособным к труду, с ду-

шою одурманенной и отуманенной» (§ 10). Весь вред и вся пагубность культуры самым ярким образом сказывается на людях богатых, которым доступны все так называемые блага ее, тогда как бедные стоят ближе к природе и живут в более естественных условиях. Богатые во всех отношениях живут хуже и несчастнее бедных. Они доходят в своей беспомощности до того, что без посторонней помощи шагу ступить не могут: они похожи на новорожденных младенцев (§ 15). Не зная самой лучшей из приправ — голода и жажды, — «они придумывают себе неестественные блюда и бани (для возбуждения аппетита), нуждаются в один и тот же день в прохладе и в теплой одежде, в одно и то же время во льде и в огне... Вследствие своей неводержности они не знают радостей любви, потому что не дожидаются физической потребности, благодаря чему предаются противоестественному разврату» (§ 12). «Несмотря на свою безумную привязанность к жизни, несмотря на все средства, придумываемые для отсрочки смерти, большинство людей не доживает до преклонного возраста; при жизни же своей они страдают болезнями, которые нелегко даже перечислить: земля не успевает производить достаточно лекарственных трав; приходится прибегать к «железу и огню». Но лечение даже самых искусных врачей не приносит пользы вследствие неумеренности и распущенности людей» (§ 23). — Но хуже физической немощи нравственные мучения, которым ежедневно подвергаются люди, живущие среди условий, созданных культурой. Они проводят всю свою жизнь в постоянном смятении (*tatattomenoi*), в вечных дрязгах, среди бесчисленных страданий. Не живут они в мире даже во время священных празднеств, когда объявляется о прекращении всякой вражды. И все это делают и переносят они ради того одного, чтобы иметь возможность «жить»: они трепещут, что у них не хватает так

называемых «средств для жизни», да еще заняты заботой о том, чтобы «детям своим оставить много денег» (§ 34).

Киническая мысль лежит также в основе VII речи. В ней Дион указывает на неприглядные условия жизни в больших городах, на несчастное положение огромного большинства их обитателей, происходящее от скученности населения и чрезмерного разделения труда. Отдаленный от природы и естественных условий существования городской житель не знает настоящего здорового труда, хотя и вечно занят своей специальностью: он *argos amakai banausos* (§ 108). Не производя того, что необходимо для жизни, он принужден платить деньги за предметы первой необходимости, получая их из вторых и третьих рук; даже хворост или сухие листья, чтобы развести огонь, ему приходится покупать, потому что «дары природы для него находятся под спудом и недоступны, кроме разве воды» (§ 106)⁴. Множество людей тем не менее покидают естественные занятия — земледелие, охоту, скотоводство — и, переселившись в город, берутся за ремесла и профессии, служащие удовлетворенно низких инстинктов и ненужных прихотей богатей, вредные для здоровья и тлетворно действующие на душу. Следствием этого влечения в большие центры является чрезмерная скученность населения в городах, тогда как плодородные земли пустуют и лежат втуне. Лучшим средством для устранения этого бедствия, по мнению Диона, было бы распределение городского населения, или, по крайней мере, его избытка, по деревням, подобно тому как некогда афиняне при Солоне и Писистрате жили рассеянные по всей Аттике (§ 107). Право, не было бы большой беды, говорит наш философ, если бы городские жители во всех отношениях стали мужиками. Не решаясь, однако, на такую радикальную меру, Дион считает возможным, в виде паллиатива, ограничиться упразднением особенно предосу-

дительных и бесполезных занятий и промыслов. В виде контраста с жалкими условиями городского быта, с эгоизмом и нравственной испорченностью людей культурных, Дион рисует нам простую жизнь двух бедных пастухов-охотников, со своими семьями обитающих в дебрях Евбеи, вдали от всякой цивилизации, на лоне природы, — жизнь, полную довольства и счастья, полную самых чистых радостей. Эта идиллия, введенная в виде рассказа из собственных приключений автора во время его странствований, отличается замечательной естественностью и жизненностью, и дышит неподдельным чувством; она принадлежит к лучшим перлам греческой литературы... Приходится только жалеть, что эта замечательная речь Диона дошла до нас в виде жалкого торса [фрагмента].

Безумной роскоши и нравственной развращенности культурного общества киники противопоставляли не только прелесть простой сельской жизни и непритязательную умеренность низших классов, но и счастливую простоту и неиспорченность диких народов (в чем нашли себе подражателей во французских философах XVIII столетия). Дион также неоднократно указывает на то, что варвары живут гораздо правильнее и лучше, чем цивилизованные эллины и римляне (ог. LXIX § 6; X § 30; XV § 20), и в своей истории гетов (как видно по сохранившимся отрывкам) противопоставлял культурной развращенности чистые нравы этого примитивного народа, подобно тому как его современник Тацит в виде контраста с распушенностью римского общества прославлял добродетели германцев.

Доставляя человеку средства для удовлетворения его дурных влечений и страстей, культура притупляет в нем нравственное чувство и заглушает голос совести или разума (*phronesis*), свше вложенного в каждого из нас. Вместо ясного, простого понимания явлений жизни, под влиянием цивилизации возникают в душе пред-

рассудки и превратные взгляды. Культурный человек «исполнен внутри ложных представлений и самообмана» (ог. LXVIII § 4). К области *doxa* [мнения] и *apate* [обмана] киники относили между прочим государственные учреждения, законы и большинство сложившихся у людей нравственных понятий. «Истинного, действительного, явного закона люди не видят и не делают его путеводителем своей жизни. Они как будто зажигают лучины и головно при полуденном сиянии солнца, оставив божественный свет и идя за дымом, показывающим ничтожную искру огня. Закон природы исчез у вас и потерян, несчастные; зато вы охраняете скрижали и грамоты и высеченные на камне постановления и бесполезные буквы. Завет Зевса вы давно нарушили; предписания же того или другого человека, чтобы не были нарушены, — за этим вы наблюдаете» (ог. LXXX § 6).

Страсти, не сдерживаемые разумом, окончательно ослепляют человека и действуют на него как дурман. Для обозначения этого состояния у киников существовал особый термин — *tuphos* (собственно *чад*), метко характеризующий то непробудное одурение, в которое люди впадают под влиянием необуздываемых страстей. — Угоревшие от чада страстей (*tetuphomenoi*), отуманенные и одурманенные, люди живут зря, не задумываясь над своей жизнью; они вечно заняты ненужными делами, вечно мечутся, вечно хлопочут о чем-то в беспросветной суете, не имея определенной цели жизни. Один стремится к тому, чтобы больше других иметь земли, другой — серебра, третий — рабов; иной ищет почестей, иной хочет стяжать славу каким-нибудь искусством, недоступными для остальных, еще иной желает сладко есть и пить и предаваться чувственными удовольствиям; но никто не знает, для чего все это (ср.: ог. LXVIII § 4). К ним всем применимы эпитеты *безрассудные* (*anoitoi*), *невоспитанные* (*apa-*

ideutoi), бесцельно несущиеся (*pberomenoi*, *petomenoi*), блуждающие (*petbomenoi*). Все эти выражения, столь часто встречающиеся в речах Диона, имеют специфический оттенок и понятны только с кинической точки зрения.

Человек, изнеженный и развращенный культурой, пребывает в безысходной кабале у собственных своих страстей. «Я жалею о вас, — говорить Дион (ор. LXXX § 7), — видя то тяжелое, жестокое рабство, в которое вы сами себя отдали: вы заковали себя не в одну или две, а в тысячу цепей, которые дают и трут гораздо хуже, чем оковы и колоды и кандалы каторжников». Невозможно перечислить все путы и узы, в которые себя заключили безрассудные и распущенные люди. «Они прикованы не только за шею или за руки и ноги, как те, которых вы считаете преступниками, но и за брюхо и за остальные части тела: каждый член имеет свои вериги и цепи, сложные и разнообразные» (ibid. § 10). Наиболее страдают те, которые обыкновенно считаются счастливыми; бедным и простым приходится легче. «Так как они худощавы, то цепи на них лежат свободнее и менее давят; знатных же и богатых, у которых душа вздута спесью и обросла жиром, цепи хуже беспокоят и трут, подобно тому как и телесные оковы сильнее жмут толстых и упитанных, чем худых и тощих» (ор. XXX § 19). Рядом с этой неволей то, что люди обыкновенно называют рабством, не имеет никакого значения. Киники вообще отрицали и игнорировали социальные различия и в частности не признавали рабства. Дион в XIV и XV речах пространно доказывает, что самое понятие рабства, в общепринятом смысле, не имеет логического основания и что между свободным и рабом нет никакой разницы.

Повальному рабству, в котором большинство людей пребывают по отношению к собственным страстям, киники противопоставляли истинную свободу. Истинная сво-



Бывший ресторан «Лейциг» по ул. Владимирской, 39.
Архит. К. Ф. Шиман, 1900–1901 гг.,
фото 1900-х из архива В. Е. Ясиевича

бода ничего общего не имеет с тем, что обыкновенно понимают под этим словом. Подобно тому, как греки и троянцы сражались из-за фантома Елены, в то время как настоящая Елена находилась вдали от Трои, в Египте⁵, так и люди постоянно воюют между собою из-за призрака, который неверно называют свободой, и во имя этого призрака переносят бесчисленные страдания и причиняют друг другу и самим себе величайшее зло (ор. LXXX § 4). Истинная свобода не обуславливается внешним положением человека, случайными обстоятельствами его жизни, а зависит от внутренних его качеств, от состояния его духа. Свободен тот, кто, победив собственные страсти, всегда владеет собою, кто, отрешившись от условностей культуры и связанных с нею пагубных привычек и ложных представлений, закалил себя в перенесении всякого рода невзгод, кто стоит выше тех случайностей, которым во всякое время подвержена жизнь человеческая, и неуязвим для стрел судьбы, ежечасно метаемых в каждого из нас. Эта истинная свобода — единственная добродетель, которую признает киник; в ней заключается счастье, являющееся целью жизни, она есть то высшее благо, к которому должны стремиться все люди.

Это счастье доступно всем без исключения. Благодаря разуму, которым мы наделены, каждый из нас, буде только захочет, имеет возможность хорошо и разумно обставить свою жизнь. Следует лишь повиноваться указаниям разума, не заглушать насильно его голоса, не противодействовать нарочно его повелениям, как то делает большинство людей. Для этого надо прежде всего опомниться, одуматься, взглянуть на себя, *познать самого себя*. Древнее предписание Дельфийского оракула *gnothi seauton* является поэтому одним из основных правил кинической философии. Дион проповедует его как в других речах (напр., ор. II § 56 sqq.; LXVII § 2 sqq.), так особенно

в десятой (§ 21 sqq.). В человеке опомнившемся, изучившем свои духовные и телесные потребности, произойдет полный переворот. Прислушиваясь к голосу своего разума и собственной природы, он убедится в суетности и бессмыслии обычных людских стремлений, в противостественности и ложности созданных цивилизацией условий. Все явления окружающей его жизни предстанут пред ним в совершенно измененном виде. Все то, к чему всюю силою стремятся и рвутся люди, что составляет предмет их желаний и вожделений, — богатство, почести, слава, образование, утонченная обстановка, удовольствия и наслаждения, — все это потеряет всякую привлекательность в глазах человека одумавшегося и прозревшего; мало того, все это покажется ему в высшей степени вредным и пагубным. Наоборот, то, чего больше всего страшатся и избегают люди, что считают величайшим несчастьем, — бедность, бесславие, унижение, работа на других, отречение от всякой собственности и всяких прав, — получит цену и станет желательным и спасительным в его глазах. И не только в оценке внешних условий жизни проявится эта перемена; она коснется и нравственных понятий. Что людям обыкновенно представляется честным, высоким, благородным, окажется дурным и безнравственным в глазах человека, познавшего самого себя и суть вещей; а что принято считать низким и преступным, для него станет хорошим и честным. *Parakapoxon to nomisma* — *перечекань монету* — гласит поэтому второе основное правило кинизма. Это есть то отрицание ходячих нравственных представлений, которое популярный в настоящее время немецкий философ, во многих отношениях близко стоящий к киническому учению, может быть, под непосредственным влиянием кинической формулы, выразил словами «переоценка ценностей» (*Umwertung der Werte*)⁶. Уже Антисфен отрицал общепринятую

мораль. Еще настойчивее против нее теоретически и практически боролся Диоген, которого позднейшая традиция в силу дословного понимания выставленного им девиза сделала «фальшивым монетчиком»⁷. Его устами Дион в IX речи требует пересмотра и отмены ходячих нравственных воззрений.

Практическим последствием внутреннего просветления и переоценки материальных и нравственных явлений жизни необходимо явится отвержение созданных культурой условий, возвращение к природе, к первобытному состоянию. *Kata phusis sin, жить согласно с природой* — вот самое главное, коренное правило кинизма, квинтэссенция его учения. Необходимость отказа от культурной лжи, необходимость возврата к естественной простоте обстановки Дион доказывает в VI речи, в которой как образец опрощения выставляется Диоген, этот наиболее яркий и последовательный представитель кинизма.

Только освободившись от чада культуры, отказавшись от суетного многоделания, отрезвившись и опростившись, человек может сосредоточиться на том едином, что на потребу, и сделать закон правды, который есть закон природы, единственным путеводителем своей жизни. Так достигнет он душевной гармонии и уравновешенности, истинной и безусловной свободы, высшего блаженства, не уступающего блаженству бессмертных богов.

Вот в кратких чертах те нравственные идеалы, которые Дион излагает в своих речах. Как истинный киник, он проводил их практически в своей собственной жизни. Прежде чем побуждать других к опрощению, он сам опростился (ог. XIII § 10), отказался от своих богатств, добровольно избрал жизнь нищего странника, переносил всякого рода невзгоды и лишения. Опростившись материально, он опростился и духовно: он сознат свою немощь, считает себя хуже других и удивляется, что люди собира-



Павильон Н. А. и Ф. А. Терещенко
на Киевской сельскохозяйственной и промышленной выставке 1897 г.,
фото из архива В. Е. Ясевича

ются вокруг него и желают его слушать. Он не находит сказать им ничего лучшего, чем то, что за четыреста лет говорили древние афинские мудрецы, и не придает никакого значения тому, что может дать от себя. Тем не менее, Дион считает пропаганду своих идей нравственную обязанностью для себя. Кто постиг пустоту и ложь культуры, кто понял суету и пагубность обычных стремлений и начинаний человеческих, тот обязан *пойти в народ* (XXXII § 8) и наставлять его на путь истины. Люди нуждаются в поучении и наставлении, потому что обыкновенно до того отуманены и одурманены, что сами не могут очнуться. Мудрец, то есть человек, познавший правду и с нею согласовавший свою жизнь, поставлен божеством для того, чтобы наблюдать за людьми и направлять их к истине и добру: он блюститель людей (*episkopos ton anthropon*⁸). Во исполнение этой священной обязанности Дион не перестает проповедовать принципы кинизма — да, именно, проповедовать, потому что многие из его речей имеют и внешнюю форму проповедей. Основую их иногда служить текст, взятый из Гомера, поэзия которого со времен Антисфена пользовалась почти священный авторитетом у киников: в ней они, применяя особый прием толкования, находили подтверждение почти всем своим положениям. Впечатление проповеди получается также от молитвенного обращения к богам в начале речей и от возвышенного убежденного тона, свойственного красноречию нашего философа.

Публика, к которой обращался Дион, была самая разнообразная. Мы видим его не раз свободно и мужественно поучающим самого римского императора, самого Траяна, относительно обязанностей истинного царя, причем идеалом правителя он выставляет Геракла, которого киники почитали как своего покровителя и в котором видели прототип кинизма. Мы далее видим Диона выступающим

в Олимпии, во время панэллинского торжества; мы встречаем его увещающим римских солдат, возмущившихся в Мёзии при известии о вступлении Нервы на императорский престол. Но чаще всего он поучал народ в народных собраниях своего родного и других греческих городов. Всюду он честно и смело отстаивал свои убеждения, выкалывая себя и в этом отношении истинным киником.

Кинизм Диона имеет для нас еще особое значение. Мы видели, какое важное место в истории человеческой мысли занимает киническая философия, какую крупную роль она играет в умственном развитии человечества. К сожалению, главные источники для ее истории — сочинения Антисфена и других киников IV века — для нас потеряны. Этот чувствительный пробел в некоторой степени пополняется благодаря присутствию кинического элемента в речах Диона.

Правда, у него нет строго выдержанной системы кинизма: практика иногда расходится у него с теорией. Желая влиять на возможно широкие слои общества, он не разделяет всех крайностей кинического учения. Чаще всего он отступает от строгого кинизма в пользу родственного с последним стоицизма. У стойков Дион заимствовал космологию, то есть учение об устройстве и управлении вселенной, излагаемое в XXXVI, XII и, отчасти, I речах. Строгие киники вовсе не признавали подобных вопросов, не имеющих прямого отношения к этике.

Но мы не задавались целью представить полную картину философского облика Диона; поэтому можем оставить в стороне влияние на него стоицизма и других философских школ. Не входит также в нашу задачу останавливаться на значении Диона как источника для современного ему быта. Позволю себе только заметить, что в этом отношении у него богатейший материал. Рисует ли он жизнь в отдаленной греческой колонии на юге России,

в этом крайнем форпосте эллинской культуры, окруженном скифскими кочевниками и отрезанном от остального цивилизованного мира, или же жалкое положение и запустение некогда цветущих центров культуры в Элладе и Македонии; изображает ли он постоянные раздоры в греческих городах Малой Азии, мелкое честолюбие их граждан, в то же время трепетавших перед римскими правителями, или же кичливое высокомерие родосцев, считавших себя единственными представителями чистого эллинизма, или же веселый, подвижной нрав и легкомыслие пестрого по своему составу населения Александрии; описывает ли он безумную роскошь богатых римлян, или же простую, идиллическую жизнь бедных пастухов в горах Евбеи: всегда он дает наглядные, полные жизни картины. Вообще Дион свое философское учение облачает в высокохудожественную форму, и тут-то сказывается бывший ритор и софист. Везде у него заметно знакомство с лучшими классическими писателями, преимущественно с Платоном и Ксенофонтom. Но в то же время нигде нет рабского подражания, нет прямых заимствований. Дион сумел сохранить свою самостоятельность и относительно изученных им образцов, проявляя всюду тонкое художественное чутье. Недаром чуткая к красоте речи древность почтила его прозвищем «Златоуста»...

Примечания

¹ Слова В. И. Модестова (Философ Сенека и его письма к Луцилию, [К., 1872,] стр. 1). — *Прим. А. Сонни*.

² Там же.

³ В своем юношеском произведении «*Verger de Charmettes*» Руссо называет Эпиктета своим учителем (Oeuvres ed. Nacheffe, 1872, t. VI, p. 6). Что изображение первобытного состояния людей в так называемой второй диссертации Руссо [находится] в зависимости от Дикеарха (следова-

вшего кинической теории), заметил *R. Poebmann*, *Gesch. d. antiken Kommunismus*, S. 113, 2. — *Прим. А. Сонни*. [Сонни имеет в виду труд эрлангенского профессора Роберта Пёльмана (1852–1914), вышедший в русском переводе: «История античного коммунизма и социализма» (СПб., 1910).]

⁴ Водоснабжение, составлявшее предмет особенной заботливости властей и являвшееся излюбленной ареной общественной благотворительности со стороны богатых граждан, в древних городах было даровое. — *Прим. А. Сонни*.

⁵ Одна из версий малоизвестного мифа, легшая в основу трагедии Еврипида «Елена» (412 г. до Р. Х.). Еврипид повествует о том, что Парис увез в Трою не настоящую Елену, а ее призрак. Елена же находилась в Египте у царя Протея, куда ее перенесла Гера. Сын Протея Феоклимен хотел жениться на Елене, но она предпочитала сохранить верность мужу. После падения Трои Менелай, возвращаясь домой, терпит кораблекрушение, попадает на египетский берег, встречает Елену, они обманывают Феоклимена и бегут. Здесь Елена — не самолюбивая красавица, бросившаяся в объятия хорошенького мальчика и не гомеровская барышня, насильно увлеченная Парисом в Трою, томящаяся вдали от родины, однако ничего не предпринимающая, чтобы вернуться.

⁶ Сонни имеет в виду составленную Э. Фёрстер-Ницше и П. Гастом из заметок 1886–1888 гг. Фр. Ницше его книгу «Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей» (1-е изд. — 1901).

⁷ Напомним, что Диоген (Синопский) начал «философскую карьеру» после того, как его изгнали из родного города за порчу монеты: перед тем, как сделаться философом, он заправлял чеканной мастерской, а его отец был менялой. Отец пытался привлечь сына к изготовлению фальшивых монет. Сомневающийся Диоген предпринял путешествие в Дельфы, к оракулу Аполлона, и тот дал ему добрый совет «сделать переоценку ценностей», в результате чего Диоген принял участие в афере отца, был вместе с ним разоблачен, пойман, изгнан. По иной версии, после разоблачения Диоген сам бежал в Дельфы, где в ответ на вопрос, что ему нужно сделать, чтобы стать знаменитым, получил от оракула совет: «сделать переоценку ценностей». После этого он отправился странствовать по Греции, около 355–



Думская площадь, снимок сделан из окна здания Городской думы, фото конца 1890-х из архива В. Е. Ясевича

350 гг. до Р. Х. появился в Афинах, где стал последователем Антисфена.

⁸ Ср.: *E. Zeller, Ueber eine Beruehrung des juengeren Cynismus mit dem Christentume. Sitzungsber. d. Berl. Akad., 1893, IX, 129–132. — Прим. А. Сонни.* [Эдуард Целлер (1814–1908) — историк античной философии, автор фундаментального труда «Философия греков в ее историческом развитии» (в 3 ч., 1844–1852), непревзойденного по обстоятельности и полноте приводимых в нем источников при забавной гиперкритичности по отношению к ним.]

Адольф Сонни

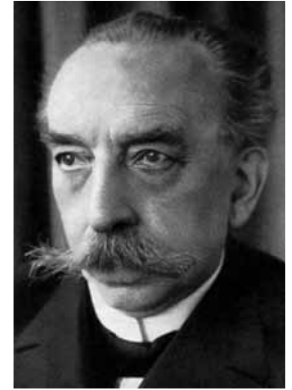
Рецензия на брошюру Ульриха Вилькена о греческой папирологии* (1899)

* Печатается по: *Сонни А. U. Wilcken. Die griechischen Papyrusurkunden. Berlin, P. Reimer, 1897 (60 стр.)// ФО. — 1899. — Т. XVI. — Отд. 2. — С. 11–16.*

Ульрих Вилькен (1862–1944) — немецкий историк античности, один из основоположников греческой папирологии. Ученик Т. Моммзена. Издавал, переводил, систематизировал и исследовал греческие папирусы и черепки-остраконы. На их основе Вилькен создал ряд исследований по истории, социально-экономической, политической и культурной жизни греко-римского, а также византийского и арабского Египта. Модернизировал античную историю, идеализировал образ Александра Великого. В 1901 г. основал международный научный журнал «Archiv fuer Papyrusforschung und verwandte Gebiete».

U. Wilcken. Die griechischen Papyrusurkunden. Berlin, P. Reimer. 1897 (60 стр.)

Число папирусов, извлекаемых из гробниц и из-под развалин и многовекового мусора Египта, с каждым годом все более увеличивается. Те из них, которые возвращают нам считавшиеся навсегда погибшими сокровища древнеэллинской литературы, сразу привлекают к себе всеобщее внимание и, благодаря дружной работе ученых всех культурных стран, в скором времени делаются достоянием всего образованного мира. Достаточно вспомнить сочинение Аристотеля о государственном строе афинян, мимиамбы Герода, оды Вакхилида. — Папирусы, содержащие уже известные раньше тексты, возбуждают общий интерес по крайней мере среди филологов как важные документы для истории предания древних писателей: сочинения классических авторов, дошедшие до нас в средневековых списках, теперь предстают перед нами в рукописях, древностью своей на многие столетия превосходящих самые ранние из известных до сих пор кодексов. — Но рукописи литературных произведений составляют лишь незначительную дробь в общем числе находимых ежегодно папирусов. Подавляющее большинство их — записи повседневной жизни: грамоты, акты, счета, письма и т. д. Таких документов официальной и ча-



Ульрих Вилькен

стной жизни древности уже теперь насчитывается несколько десятков тысяч. Разбор их, связанный с большими затруднениями, только что начат. Возникла новая отрасль филологической науки — папирология, имеющая уже нескольких видных представителей. Но исследования их разбросаны по разным изданиям, вышедшим в разных странах, и пока остаются малоизвестными даже среди филологов-специалистов. Нельзя поэтому не приветствовать попытку одного из самых выдающихся «папирологов», профессора Бреславского университета Ульриха Вилькена, представить сжатый очерк того, что до сих пор сделано в этой области, выяснить значение новой науки, указать на ее цели и ближайшее задачи.

Брошюрка проф. Вилькена есть собственно доклад, прочитанный им на съезде филологов, происходившем в конце сентября 1897 г. в Дрездене. К реферату своему автор прибавил 16 страниц примечаний, содержащих, главным образом, весьма ценную библиографию.

Как видно по заглавию, г. В[илькен] принципиально исключил из своего рассмотрения «литературные» папи-

русы (хотя иногда их касается) и ограничился записями делового или бытового характера. После нескольких слов общего введения предлагается краткий очерк истории открытия папирусов в Египте (стр. 10–20). Автор различает три периода. Первая находка, ставшая известной, была сделана в 1778 году; это так наз. *charta Borgiana*, образцово изданная датским ученым Niels Schow в 1788 г. Главный контингент относящихся сюда открытий приходится на 20-ые и 30-ые годы текущего [XIX] столетия. Папирусы, найденные за этот первый период, отличаются хорошей сохранностью, объясняющей тем, что они, по словам продававших их арабов, в большинстве случаев оказывались заделанными в глиняные сосуды. По времени они относятся к эпохе Птолемеев, а по происхождению — к среднему и верхнему Египту [т. е. III–XVII царские дома; III тыс. до Р. Х. — XVII в. до Р. Х.]. Теперь они рассеяны по разным городам Европы; некоторые хранятся в Импер[аторской] Публичной библиотеке в Петербурге. Хотя все в свое время были изданы, филология того периода, сосредоточившая все свое внимание на изучении «эпохи расцвета», отнеслась к ним довольно равнодушно. — Второй период в истории открытия папирусов, по г. В[илькену], начинается с 1877 года. Главным местом находок теперь является средне-египетская область Фаюм, преимущественно ближайшие окрестности главного города Мединет-эль-Фаюм, где в древности находился знаменитый «Крокодилов город», в эпоху Птолемеев переименованный в Арсиною в честь царицы того же имени. Здесь папирусы извлекались непосредственно из груд развалин и мусора, возвышающихся на месте древнего города, и в большинстве случаев представляют собою разрозненные клочки пришедших в ветхость рукописей и деловые бумаги, потерявшие свое значение для владельцев и поэтому ими выброшенные. По времени эти

остатки письменности относятся главным образом к первым столетиям Византийской империи; реже попадаются памятники римского периода; папирусы же эпохи Птолемеев почти совершенно отсутствуют. Из находок, сделанных в Фаюме, составились богатая коллекция эрцгерцога Райнера, хранящаяся в Венском музее, и немногим ей уступающее собрание Берлинского музея; немало Фаюмских папирусов, кроме того, имеются в разных других городах Европы. Все находки в Фаюме сделаны были туземцами, случайно рывшимися в древних развалинах, и более или менее случайно попали в руки европейцев, понимавших ценность невзрачных с виду клочков. Нет сомнения, что множество драгоценнейшего материала погибло и продолжает погибать от рук невежественных феллахов. Иного происхождения известные «Flinders-Petrie papyri», хранящиеся в Дублине и изданные [Дж. П.] Магаффи: они представляют собою лоскутки, получившиеся от разборки картонажных гробов мумий греко-римской эпохи.

Новая эра в истории открытия папирусов настала с того времени, когда от прежней «системы», состоявшей в отсутствии всякой системы, перешли к раскопкам, предпринимаемым по определенному плану с специальной целью добывания остатков древней письменности. Почин в этом деле принадлежит лондонскому обществу «Egypt Exploration Fund», учредившему особую секцию для исследования остатков греко-римской культуры в стране фараонов (Graeco-Roman Branch). По его поручению и на его средства молодые «папирологи» В. Grenfell и А. Hunt вели систематические раскопки зимою 1896/97 г. на месте древнего Оксириха (ныне Бехнеса, на запад от Фаюма, у самого края великой пустыни). Мысль, легшая в основу этого предприятия, оказалась весьма счастливой, и оно увенчалось блестящим успехом.

Под щебнем и мусором древнего города Гренфелль и Хёнт открыли огромное количество папирусов: 280 жестяных ящиков, наполненных драгоценными находками, были перевезены в Оксфорд; кроме того, 150 хорошо сохранившихся полных папирусов были переданы музею в Гизе. Разбор столь богатого материала потребует, конечно, немало времени. Уже по напечатании брошюры г. Вилькена, к концу 1898 г., появился первый том «Oxyrhynchos papyri», изданный Гренфеллем и Хёнтом. В нем опубликованы 158 текстов, выбранные из числа 1200–1400 папирусов, которые издатели к тому времени успели рассмотреть. Последняя цифра, по приблизительному подсчету, составляет около 1/5 общего количества добытых в Оксирихе папирусов.

Отметив затем вкратце главнейшие издания папирусов, появившиеся до конца 1897 г., Вилькен обращается к изложению ближайших задач папирологии (стр. 22–26). Признавая безусловно необходимым создание общего *corpus papyrologum Graecarum*, наподобие издаваемых Берлинской Академией сводов греческих и латинских надписей, В[илькен] полагает, однако, что еще не наступило время приняться за этот гигантский труд. Ввиду продолжающихся ежегодно, можно сказать, ежедневно, новых находок пока нечего и думать об окончательном распределении и группировке материала, об установлении общего плана для предполагаемого корпуса. Пока необходимы подготовительные работы. Кроме каталогизации состава коллекций и предварительной публикации особо важных документов и кроме детальной разработки частных вопросов, возникающих на основании нового материала, г. В[илькен] рекомендует, во-первых, *производство обширных систематических раскопок* для доставления новых памятников и в видах предохранения бесценных остатков старины от дальнейшего истребле-

ния туземцами, и, во-вторых, *учреждение специального периодического органа* интернационального характера, который являлся бы средоточием всех занятий по папирологии и препятствовал бы дальнейшему их раздроблению¹.

На следующих затем страницах (26–28) В[илькен] делает попытку подвести известный по сие время материал под определенные рубрики. Так как тем самым получается некоторое представленные о пестром содержании папирусовых документов, считаем нелишним сообщить, в сокращенном виде, предложенную автором схему, которую он сам, впрочем, не считает окончательной или безусловно полной.

А. Официальные документы:

- 1) журналы присутствий и должностных лиц (*protometastoi*);
- 2) приказы, решения, объявления, предписания и т. д.;
- 3) донесения и отчеты должностных лиц;
- 4) официальные удостоверения и квитанции;
- 5) разного рода акты и документы, составленные или подписанные настоятелями храмов или другими священнослужителями.

В. Частные документы:

I. Документы, представленные частными лицами на имя официальных учреждений или должностных лиц:

- 1) иски, жалобы и прошения по судебным делам;
- 2) заявления, касающиеся податей и налогов (*apographai*);
- 3) прошения и заявления смешанного содержания.

II. Акты между частными лицами:

- 1) договоры, контракты, обязательства, расписки и т. п.;
- 2) частная переписка.

Чему же учат нас эти столь разнообразные по свое-

му содержанию памятники общественной и частной жизни? Выяснению этого вопроса посвящена остальная часть реферата г. Вилькена (стр. 29–41). Львиная доля новых сведений, почерпаемых из папирусов, приходится на историю. Правда, события так наз. «высшей политики» редко в них затрагиваются непосредственно (хотя и тому есть примеры); но для хронологии и истории династий как Птолемеев, так и римских кесарей, далее — для истории правительственных учреждений и администрации Египта мы находим в них весьма ценные данные. Особенно важный материал папирусы дают по истории народного хозяйства, финансового управления, системы податных сборов и вообще по истории экономического быта и хозяйственного строя в стране фараонов². — Не менее важны папирусы в чисто бытовом отношении. Пред нами выступает пестрая смесь народностей, составлявших население Нильской долины; мы знакомимся с их материальными интересами и духовным развитием, читаем собственными глазами, как люди, жившие в эпоху Птолемеев, в период римского владычества, в византийское время, вплоть до завоевания Египта арабами, выражались в обиходе, как они мыслили и чувствовали. Целый ряд вопросов культурной истории получает неожиданное освещение, а еще большее число новых вопросов из этой области впервые выдвигается и ставится на очередь.

Филологу-лингвисту папирусовые документы дают возможность изучить не только развитие эллинистического канцелярского языка, но и живую речь разных слов эллинизированного населения Египта и других стран, притом на протяжении многих веков. Для изучения «общего говора» (*koine*) мы обладаем теперь совершенно новым материалом. — Египетская и коптская филология также обогатилась новыми данными. Огромная важность папирусов для палеографии ясна сама собою. Нумизма-

тика и метрология также уже успели попользоваться от новых открытий. — Выдающееся значение папирусы имеют, наконец, для истории римского, а еще более, греческого права, тут открывается новая область для исторической юриспруденции.

Итак, научная нива, представляемая папирологией, обширна и богата: желательно, чтобы как можно больше работников посвятило ей свои силы. Этой мыслью г. Вилькен заключает свой поучительный реферат.

Желанию, выраженному в докладе г. Вилькена относительно учреждения центрального органа по папирологии, суждено, по-видимому, осуществиться. Фирма B. G. Teubner в последнем выпуске своих «Mitteilungen» сообщает, что начиная с весны 1899 г., намерена издавать «Archiv fuer Papyrusforschung und verwandte Gebiete». Журнал этот будет выходить под редакцией Ульриха Вилькена, без определенных сроков. В числе сотрудников поименованы английские ученые: Kenyon, Mahaffy, Grenfell, Hunt, итальянский Lumbroso, женевский Nicole, французский Jouquet, немецкие Krebs, Viereck, Mitteis и юрист Gradenwitz.

Пожелаем новому изданию от души успеха.

Примечания А. И. Сонни

¹ P. Viereck в Berl. philol. Wochenschr. 1898, 1162, предлагает, кроме того, издание «Sylloge papyrogum graecarum memorabilium» вроде известной Sylloge греческих надписей Диттенбергера и т. п., которая служила бы распространению знакомства с папирусами.

² Первоклассным памятником в этом отношении является податной устав Птолемея Филадельфа от 259/8 года до Р. Х., изданный по папирусу Гренфеллем в 1896 году.

[О развитии греческой папирологии в XX в. см.: Цфетели Г. Ф. Папирология в СССР и обзор хранящихся в Музеях Москвы, Ленинграда и Ти-

флиса коллекций папирусов // Труды Тифлисского гос. ун-та. — Тифлис, 1936. — Т. 5. — С. 141–155; *Фихман И. Ф.* Советская папирология и изучение социально-экономической истории греко-римского Египта в 1917–1966 гг. // ВДИ. — 1967. — № 3. — С. 100–107; *Борухович В. Г.* Греки в Египте (с древнейших времен до Александра Македонского): Дис. ... д-ра ист. наук. — Л., 1967; *Борухович В. Г.* В мире античных свитков. — Саратов, 1976; *Дойель А.* Завещанное временем: Поиски памятников письменности / Пер. с англ. — М., 1980; *Фихман И. Ф.* Введение в документальную папирологию. — М., 1987; *Керам К.* Боги, гробницы и ученые: [Археологический роман] / Пер. с нем. — М., 1994; *Жан Ж.* История письменности и книгопечатания / Пер. с фр. — М., 2005.

См. также литературу, в которой на основании первоначально накопленного материала произведена его умственная возгонка: зримое воплощение максимы Н. Фюстель де Куланжа о «веке анализа на день синтеза»: *Перефёлкин Ю. Я.* К вопросу о возникновении энциклопедии на Древнем Востоке // Труды Ин-та книги, документа и письма. — Л., 1932. — Т. 2. — С. 1–13; *Перефёлкин Ю. Я.* Меновые отношения в староегипетском обществе // Сов. востоковедение. — М., 1949. — Т. 6. — С. 302–311; *Лурье И. М.* Очерки древнеегипетского права XVI–X веков до н. э.: Памятники и исследования. — Л., 1960; *Перефёлкин Ю. Я.* О деньгах в древнейшем Египте // Древний Египет: Сб. ст. — М., 1960. — С. 162–171; *Перефёлкин Ю. Я.* Частная собственность в представлении египтян Старого царства. — М.; Л., 1966; *Перефёлкин Ю. Я.* Тайна Золотого гроба. — 2-е изд. — М., 1969; *Богословский Е. С.* Трудовое население Египта в эпоху Среднего царства. — М., 1972; *Богословский Е. С.* Военные и художники в Египте XIV–X вв. до н. э. // Тутанхамон и его время. — М., 1976. — С. 80–95; *Кинк Х. А.* Древнеегипетский храм. — М., 1979; *Богословский Е. С.* «Слуги» фараонов, богов и частных лиц (К социальной истории Египта XVI–XIV вв. до н. э.). — М., 1979; *Перефёлкин Ю. Я.* Хозяйство древнеегипетских вельмож. — М., 1988; *Перефёлкин Ю. Я.* История Древнего Египта. — СПб., 2000; *Перефёлкин Ю. Я.* О происхождении минускульного письма // *Коростовцев М. А.* Писцы Древнего Египта. — СПб., 2001. — С. 252–308; *Перефёлкин Ю. Я.* Основы египетской раннединастической эпиграфики // Там же. — С. 309–335, итд.]

Адольф Сонни

Рецензия на книгу Карла Бюхера

«Работа и ритм»* (1900)

* Печатается по: *Сонни А. К.* Buecher, Arbeit und Rhythmus: Zweite stark vermehrt Auflage. Leipzig, 1899 (VIII+412 стр.) // ФО. — 1900. — Т. XIX. — Отд. 2. — С. 46–50.

Карл Бюхер (1874–1930) — немецкий экономист, автор трудов по истории первобытной культуры, народного хозяйства и пролетариата. В области искусствознания известен как автор нашедшей книги «Arbeit und Rhythmus» (Lpz, 1896, 6-е изд. — 1924), в которой проанализирован звуковой и словесный материал, накопившийся при изучении древнейших форм физического труда. Исследуя труд у диких народов, автор пришел к выводу, что на первых ступенях развития работа, музыка и поэзия были органически связаны, причем главным и обуславливающим элементом была работа. Вместе с этим К. Бюхер дает картину зарождения музыкального звука из соприкосновения орудий труда с предметом обработки и — поэзии — из элементарной рабочей песни. Ритм такой поэтической речи не мог быть заимствован извне, он исходит из рабочих движений, при которых сокращение и растяжение мускулов соответствует арсису и тезису в стопе античного стиха. Так, ямб и хорей — размеры топтания; спондеи — метр удара обеими руками в такт; дактиль и анапест — метры удара кузнечным молотом, итд.

Существуют переводы на русский: *Бюхер К.* Работа и ритм: Рабочие песни, их происхождение и экономическое значение. — СПб., 1899; М., 1923.

K. Buecher. Arbeit und Rhythmus. Zweite stark vermehrte Auflage. Leipzig, 1899 (VIII+412 стр.)¹

Приведенный в заголовке труд известного лейпцигского экономиста должно признать явлением редким в наш век научной специализации: он представляет собою органическое сочетание самостоятельных и плодотворных изысканий в области двух наук, далеко друг от друга отстоящих и, по-видимому, ничего общего между собою не имеющих. Исходя из исследования физиологии и психологии работы, автор получает результаты, важные для вопроса о происхождении и первоначальном развитии поэзии и об основаниях метрики. Это обстоятельство делает его книгу интересной и для филолога.

Материал, которым пользуется Бюхер, состоит почти исключительно из данных этнографии и фольклористики, то есть из наблюдений над бытом не тронутых нашей цивилизацией или, как принято выражаться, «первобытных» народов, а также над жизнью и поэзией малокультурных слоев так называемых цивилизованных народностей. Но этот материал, обыкновенно являющийся в виде *rudis indigestaeque molis* [неуклюже сильной формой], у нашего автора строго систематизирован, критически проверен и одухотворен внесением в него принципа экономической эволюции.

Ход исследования вкратце следующий. Исходной точкой служит характеристика работы у первобытного человека (гл. I). Дикарь не отличается отвращением к труду, как то принято думать; напротив, в общем он работает не менее цивилизованного человека. Но он работает урывками, без правильности, не распределяя своего времени, поддаваясь настроению и внезапным импульсам. Вследствие отсутствия подходящих орудий, работа у дикаря тяжела и крайне утомительна. Тут является на помощь естественная «ритмизация работы» (гл. II). Чтобы облегчить себе тяжесть продолжительного телесного труда, человек инстинктивно регулирует трату мускульной энергии, производя ее с известной правильностью, в определенные промежутки времени и с одинаковой каждый раз силой. Таким образом, во все время производства работы, моменты напряжения чередуются с моментами отдыха. Это достигается тем легче, что каждое телесное движение, вызываемое работою, само по себе распадается, по крайней мере, на два элемента, — один более сильный, другой более слабый, как, напр., поднятие и опускание, отталкивание и притяжение, натягивание и отдача. Правильное повторение движений, расчлененных уже в самих себе, производит на нас впечатление ритма, представляя собою равномерное чередование сильных и слабых моментов времени. Механизируя движения, делая их автоматическими, ритмизация позволяет отказаться от постоянного напряжения внимания и, таким образом, предохраняет от преждевременного утомления не только мускулы, но и нервы. Благодетельное влияние ритмизации движений имеет, по всей вероятности, физиологическое основание. Уже Аристотель заметил, что ритм свойствен нашей природе (*kata phusis de ontos emin tou puthmou*, Роет. 4). Действительно, многие функции человеческого организма, как, напр., дея-

тельность сердца и легких, совершаются строго ритмически, и самое регулирование дыхания, по-видимому, вызывает ритмическое однообразие мускульных движений. При некоторых видах работы ритм движений сопровождается ритмом звуков, производимых правильно повторяющимся прикосновением орудия к обрабатываемой материи. Бывает так, что эти звуки сами собою дифференцируются по силе и высоте и по продолжительности (ср., напр., удары молота о наковальню в кузнице); тогда «рабочий ритм» (то есть ритм движений, вызываемых процессом работы) сопровождается тоническим ритмом. Там, где работа не дает настоящего звукового такта, последний может быть вызван искусственными средствами. Чаще всего для этой цели служит человеческий голос: кто не слышал равномерных возгласов рабочих, занятых подыманием тяжестей или другим тяжелым трудом? Заменою человеческого голоса являются инструменты, издающие определенный тон, вроде барабана или тамтама. В дальнейшем развитии возгласы и междометия расширяются до цельных предложений, и прибавляется элемент гармонии. Таким образом, возникает рабочая песнь (гл. III). В ней и в позднейшее еще время преобладает ритм, нормирующий и мелодию, и поэтический текст. Еще по сей день у разных народов существует множество рабочих песен, самым тесным образом связанных с определенным производством: есть ткацкие песни, прядильные, лодочные, бурлацкие, есть песни, поющиеся исключительно во время работы на ручной мельнице, во время мятия льна, при кошении сена, при молочении хлеба и т. д. Каждая группа имеет свой специфический ритм, обусловливаемый различным характером телодвижений работающих. Богатейший материал таких рабочих песен, собранных у народов всего Земного шара, сообщается в IV и V главах. В подлиннике, с прибавлением перевода,



*Группа инженеров у ворот Бессарабского рынка,
фото 1913 г. из архива В. Е. Ясевича*

объяснительных примечаний, и, по большей части, еще напева в нотных знаках, сгруппированные по роду работы, при которой исполняются, предлагаются тут читателю песенные тексты маорисов и китайцев, корейцев и кафров, эстов и бедуинов, финнов и тибетцев, голландцев и грузин, краснокожих и сербов и т. д. Не забыты и наши родные «Дубинушка» (стр. 166) и «Эй, ухнем» (стр. 177). Безукоризненной передачей и правильным толкованием² столь разнообразных текстов автор отчасти обязан той помощи, которую он, живя в таком умственном центре, как Лейпциг, имел возможность получить со стороны многочисленных лингвистов-специалистов.

В примитивной стадии культурного развития деятельность человека еще мало дифференцирована. В особенности не существует резкой грани между работою и игрою: они свободно переходят одна в другую у дикаря. Неудивительно поэтому, что ритмическое телодвижение, вызываемое известными рабочими процессами, вместе с сопровождающими его пением и музыкой, переносится и на иные формы человеческой деятельности (гл. VI). Ясное всего это выступает относительно пляски, генетическая связь с работою проявляется в том, что у дикарей она нередко служит продолжением работы или же приступом к ней, а также в том, что по содержанию своему пляска первобытного человека часто бывает подражанием известным рабочим актам. Будучи по самому существу своему ритмическим телодвижением, пляска представляет собою наиболее тесное сочетание этого последнего с пением и музыкой. Но это самое соединение встречается и в других играх (ср., напр., качельные песни) и переходит даже в иные бытовые отношения, употребляясь, напр., при нашептывании, заклинании, причитании.

Основываясь на той тесной связи ритмического телодвижения, музыки и стихотворного текста, которую

мы наблюдаем на первобытной ступени человеческого развития, Бюхер в главе VII пытается дать ответ на старый вопрос о происхождении поэзии, со времен Платона и Аристотеля не перестающий занимать умы философов и историков литературы. В названной триаде первенствующая роль принадлежит ритму: он представляет собою то ядро, из которого развились все мусические искусства. Но ни язык, ни гармонический тон сами по себе, по собственной своей природе, не обладают ритмом: он внесен в них извне. Откуда же он взялся? Ритм раньше всего появился в телесном движении под влиянием работы. На почве работы же подверглись ритмизации присоединившиеся к ритмическому телодвижению элементы речи и гармонии. Итак, начало поэзии и музыки заключается в работе, или — выражаясь осторожнее ввиду того факта, что первобытные народы не знают работы в современном, хозяйственно-техническом и этическом смысле, — в энергическом ритмическом движении тела, совершаемом как по иным побуждениям, так преимущественно для достижения утилитарной цели. Когда рабочая песнь, вместе с породившим ее ритмическим телодвижением, пристроилась к другим жизненным сферами и стала служить целям общественной забавы, праздничного торжества, богопочитания и т. д., то содержимые в ней элементы стали получать самостоятельное развитие, причем то один, то другой из них выдвигался вперед, заглушая подчас остальные. При исключительном преобладании ритмического телодвижения получается пантомима, играющая столь значительную роль в художественном обиходе дикарей. Если берет верх элемент гармонии, то мелодия со временем становится самостоятельной единицей и, усиливаемая усовершенствованными музыкальными инструментами, полагает начало искусству музыки. Позже всего самостоятельное значение получает стихотворный

текст, и поэзия, прошедши уже разные стадии художественного развития, все еще сохраняет связь с ритмическим телодвижением и музыкою. Из трех главных родов поэзии — уже в рабочей песне заключаются зачатки каждого из них — драма у греков еще в эпоху расцвета, в аттический период, основана, как известно, всецело на взаимодействии поэтической речи, пляски и музыки; в области лирической поэзии то же соединение сохранилось в дорийской хоровой лирике, так как эолийская мелика уже отбросила элементы телесного движения; что же касается до эпики, то у Гомера термины *aedein*, *aoide*, *aoidos* и употребление кифары при рецитации указывают на связь этого поэтического рода, по крайней мере, еще с музыкою. Следы того же самого синкретизма наблюдаются и в развитии поэзии других народов.

Гл. VIII, представляющая по содержанию своему как бы экскурс, посвящена участию женщины в развитии примитивной поэзии, специально в создании рабочей песни. На первобытной ступени культуры на долю женщины приходится самая тяжелая и однообразная работа; облегчая себе ее тяжесть, женщина чаще мужчины имела повод слагать песни, *longum cantu solata laborem* [продолжительный труд облегчая тем временем песней], говоря словами Вергилия [(Георг. I 293)]. В последней главе (IX) рассматривается «ритм как принцип экономической эволюции». Содействуя интенсивности и продуктивности работы, ритм является немаловажным фактором в хозяйственном развитии, и приходится жалеть, что современная фабрика с ее машинами значительно сузила сферу его влияния.

Блестяще написанная, увлекательная книга Бюхера представляет собою, без всякого сомнения, весьма ценный вклад не только в науку о теории и эволюции работы, но также и в поэтику, и в историю литературы. Правда,



Киево-Печерская Успенская лавра с птичьего полета, немецкая аэрофотосъемка 1918 г. (фрагмент) из фондов Музея истории Киева

основное значение ритма для трех мусических искусств было открыто еще учеником Аристотеля, Аристоксеном, имени которого мы, странным образом, не встречаем у Бюхера. Тем не менее, подкрепление и освещение теории древнего философа данными этнографии и фольклористики и соображениями экономического характера, в столь стройном порядке и так обдуманно предлагаемыми в труде лейпцигского ученого, является далеко нелишним. Новой и вполне убедительной представляется нам гипотеза о возникновении ритма исключительно на почве телесного движения и о перенесении его уже отсюда в область поэзии и музыки. В этом отношении исследования нашего автора существенно дополняют учение Аристотеля, который, не вдаваясь в вопрос о происхождении ритма, телесное движение (*kinesis somatike*), музыкальный тон (*melos*), человеческую речь (*lexis*) признавал равноправными субстратами ритмической энергии (*rhythmisomena*). Односторонним, однако, кажется нам то исключительное значение, которое Бюхер придает работе в деле ритмизации телесного движения: одинаковую, если не большую, в этом отношении роль должно, на наш взгляд, отвести пляске, генетическая общность которой с работой доказана автором далеко недостаточно. За пляскою человека нельзя признать другого происхождения, чем за плясообразными движениями животных, из которых некоторые (особенно иные породы птиц) уstraивают, по наблюдению натуралистов, продолжительные и сложные танцевальные представления, притом не только в пору полового спроса, но и независимо от него. Как у животных, так и у человека пляска вызывается потребностью дать выход избытку накопившейся жизненной энергии; о зависимости от работы едва ли может быть речь. Пляска же как свободная игра стоит гораздо ближе к искусству, чем работа. Она, вместе с сопровож-

дающими ее песней и музыкой, употребляется и в богослужении, и при иных религиозных актах; перенесение же сюда рабочей песни само по себе мало вероятно и ничем не доказано.

Тем не менее, работа и рабочая песнь сыграли известную роль в развитии поэзии, и многие явления народной словесности, между прочим и греческой лирики, становятся понятными только при освещении, данным им впервые в книге Бюхера.

Примечания А. И. Сонни

¹ Впервые исследование Бюхера появилось на страницах «Записок Саксонской академии наук» (Abhandlungen der Kgl. Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften), 1896 г. По первому изданию был сделан русский перевод И. Иванова, под редакцией Коропчевского. Экономическая библиотека О. Н. Поповой, 1899 г.

² Отметим мимоходом маленькую неточность в переводе русского текста: *ухнем* несколько раз передано не как глагольная форма, а как междометие.

Адольф Сонни

Горе и Доля
в народной сказке*
(1906)

I

Фигура Горя, столь живо и поэтически прекрасно изображенная в древнерусской повести о Горе-Злосчастии, неоднократно обращала на себя внимание ученых исследователей. Уже первый издатель повести, Н. И. Костомаров, которому открывший ее А. Н. Пыпин — тогда еще молодой, начинающий ученый — предоставил опубликовать свою счастливую находку, старался выяснить смысл и значение выводимого в ней образа¹. Признавая вполне правильно — главным образом на основании сравнения некоторых народных песен, — что фигура Горя не была создана составителем повести, Костомаров объявил Горе «древним мифологическим существом» и утверждал, что «верование в олицетворение Горя и его происхождения принадлежит далекой древности». Доказательство мифического характера Горя он видел в его сходстве с Долей: как Горе в повести преследует доброго молодца, так в малорусской песне Лихая Доля гоняется за дивчиною. Доля же уже давно (еще [С. П.] Шевыревым) была признана древней богиней и помещена на создававшемся тогда всеми силами славянском Олимпе. Против признания Горя мифическим существом возражал Ф. И. Буслаев², утверждая, что оно — «только поэтический образ». «Старинное верование славян в судьбу

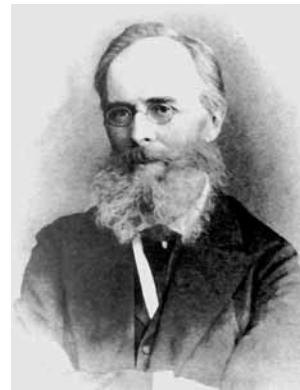
* Печатается по: Сонни А. Горе и Доля в народной сказке // Епанос: Сб. ст. по лит. и истории в честь засл. проф. Имп. ун-та св. Владимира Николая Павловича Дашкевича. — К., 1906. — С. 362–425.



Николай Иванович Костомаров

или встречу, — писал он, — нисколько не уполномочивает нас видеть в Горе-Злосчастии языческое или полужазыческое существо». Взгляд Костомарова, однако, нашел поддержку у А. А. Потебни, посвятившего вопросу о мифическом значении Гора пространное ученое исследование³. Потебня отождествляет Горе с Долей и Недолей и с другими олицетворениями судьбы, к которым он причисляет Беду, Нужду, Кручину, Злыдней, выступающих в русских народных песнях и сказках. Сопоставление и сличение их приводит его к следующему выводу: «Доля и сходное — происхождения не книжного; образы эти вполне туземны; они обнаруживают явственную связь с другими мифическими существами; они очень древни, так что носят на себе следы зооморфизма»⁴.

Теория Потебни всецело была принята А. Н. Афанасьевым: в «Поэтических воззрениях славян» он говорит о фигуре Гора в главе, названной им «Девы судьбы»⁵. По следам Потебни пошел также столь авторитетный ученый, как академик А. Н. Веселовский в своей статье «Судьба-Доля в народных представлениях славян»⁶. Со-



Александр Афанасьевич Потебня

брав со свойственной ему поражающей ученостью обширнейший, весьма драгоценный материал как из русской, так и славянской и западноевропейской народной словесности, почтенный академик свел его в систему, подкупающую своей стройностью и видимой естественностью. Если Потебня находится еще под влиянием устаревшей ныне метеорологической мифологии Куна и Шварца, то Веселовский стоит на почве более современной анимистической теории. Образы Гора, Беды, Доли и т. д., по его мнению, основаны на верованиях, возникших еще в пору первобытного анимизма. Отвергая свидетельство византийского историка Прокопия⁷ о том, что славяне не знали идеи рока и не допускали его влияния на жизнь человека, почтенный академик на основании теоретической конструкции приписывает древним славянам веру в судьбу *личную, частную, родовую*. Пытаясь «внести в разнообразную смесь суеверий, выражающих понятие судьбы, идею исторического генезиса» (стр. 174), он «*путем логических и психологических наведений*» (стр. 185) устанавливает непрерывную генетичес-

кую цепь, ведущую от анимистического культа «Родителей» или Предков к позднейшим олицетворениям идеи судьбы — к южнославянской Срече и северным Недоле, Злой Судьбине, Кручине, Горю. Промежуточными звеньями являются, по его теории, Род-Домовой, Рожаницы, Судицы (Орисницы, Наречницы), Доли. Посредством тех же «логических и психологических наведений» доказывалось, что одна и та же общеславянская идея судьбы у южных славян развилась в сторону судьбы случайно навешенной, встреченной, счастливой, тогда как в воображении русского народа преобладало более исконное, архаичное представление о судьбе прирожденной, сужденной, неизбежной, представление, давшее в дальнейшем развитии отрицательные образы Недоли, Нужи, Кручины, Горя. К понятиям последнего разряда со временем прибавилась идея вменяемости, заслуженности (Горе-Злосчастие повести).

При возведении этого стройного здания, автор, по собственным словам, «старался построить факты самостоительно-генетически, не считаясь с литературными и христианскими влияниями» (стр. 234). Он пытается установить пути «естественного развития», по которым «народное сознание» шло «вне посторонних, напр. христианских, влияний» (стр. 195), «вне посторонних учений и воздействий» (стр. 225). Тем не менее, он допускает, что «логика развития подчинялась случайности посторонних влияний» (стр. 185), что «вопрос запутан литературными влияниями» (стр. 222), так как тот или иной образ «попал в руки поэтов» (стр. 222). Он не уверен, что в разбираемых им фактах воздействие литературных и христианских влияний «не сказалось так или иначе, намечая путь естественного развития, помогая формулировать тот или другое обобщение» (стр. 234). Он признает некоторые образы «литературными» (стр. 240), «агломеративными, сложив-



Александр Николаевич Веселовский

шимися на почве загожей сказки» (стр. 232), принимает известные черты за «поэтическую разработку» (стр. 221), не отрицает, что «привитые, литературные суеверия» смешались со «встречными, народными» (стр. 234).

Нам кажется, что эти признания и оговорки в значительной степени подрывают доверие к самому методу «логических и психологических наведений». В самом деле, можно ли так полагаться на «логику естественного развития», чтобы из нее сделать решающий критерий при разборе и оценке пестрой смеси «народных представлений»? Эти самые представления мы ведь извлекаем в большинстве случаев из произведений народного поэтического творчества; это — наш главный источник, и почти исключительно им пользуется и г. Веселовский. Как же тут учесть и выделить поэтический вымысел, «поэтическую разработку»? И что останется после этой операции? Поэтические произведения не только выражают представления и верования народа, — они сами оказывают на них существенное влияние, являются коренным, а не побочным и случайным фактором в процессе их воз-

никновения. Классическим примером служат Гомеровские поэмы, под прямым воздействием которых, как то признал еще Геродот⁸, сложились религиозные представления и верования позднейшей Греции.

Едва ли основательно далее г. Веселовский с такой резкостью противопоставляет друг другу элементы народные и элементы литературные. Такое противопоставление имело смысл, пока господствовал мистико-романтический взгляд на народное творчество, как на нечто обособленное, самодовлеющее, как на эманацию абсолютного народного духа. Новейшие исследования, в том числе блестящие работы самого г. Веселовского, поколебали этот взгляд и показали, что народная поэзия, некогда называвшаяся «естественной», в значительной степени находится под воздействием «искусственной», заимствуя у последней не только сюжеты, но и образы и другие поэтические формы, и едва ли в настоящее время кто-нибудь решится категорически утверждать, что тот или иной мотив или образ народной поэзии не может, в конце концов, восходить к какому-нибудь литературному, «книжному» прототипу. Не менее произвольным представляется нам строгое разграничение понятий «народный» и «посторонний», или «заносный». В современной фольклористике теория заимствований и бродячих мотивов завоевывает с каждым днем все большие права; кто же в состоянии указать, какие элементы в области поэтических представлений и верований народа — самобытны, исконны, «вполне туземны»? Что сегодня считается исключительной принадлежностью одного народа, завтра благодаря расширению нашего научного кругозора может оказаться достоянием многих других.

Таковы принципиальные возражения, которые вызывает против себя попытка г-на Веселовского приписать славянам самобытную, независимую от представлений

других народов, идею судьбы и проследить ее генетическое развитие вне посторонних влияний, вне литературных воздействий, вне поэтических разработок. Он сам признает, что его «построение» может показаться «априорным» (стр. 174). На наш взгляд, оно, действительно, лишено реального фундамента и не находит себе подтверждения в фактах. Это — красивый мыльный пузырь, переливающийся всеми цветами яркого комбинаторского таланта, блестящего остроумия, ослепительной эрудиции. Но стоит к нему прикоснуться персту критики — и остается... немного мутной водицы.

В отличие от конструктивного, синтетического метода, применяемого г-ном Веселовским, единственным надежным путем нам кажется метод аналитический. Чтобы выяснить происхождение и сущность тех народных представлений и поэтических образов, которые Потебня и Веселовский сделали предметом своего рассмотрения, необходимо предварительно критически разобрать состав и построение, а также и взаимное отношение тех произведений народного творчества, в которых встречаются относящиеся сюда образы и представления. Такой анализ всего затронутого в исследованиях названных ученых фольклористического материала представляет собою громадные трудности и, конечно, не нам с нашими слабыми силами браться за эту сложную задачу. Желая тем не менее внести свою посильную лепту в это дело, мы ограничиваемся рассмотрением двух сказочных тем, разные обработки которых не раз цитируются и Потебнею, и Веселовским. Главными действующими лицами этих сказок являются Доля и Горе — два поэтических образа, занимающие положение в указанных исследованиях обо-

II

Устанавливая близкую связь между образом Доли и образом Гора, и Потеня, и Веселовский, между прочим, ссылаются на одну великорусскую сказку, в которой выступают оба образа, как бы сливаясь вместе. Содержание этой сказки, помещенной в сборнике Афанасьева⁹ под № 173, следующее:

Два брата после смерти отца разделили поровну между собою доставшее им наследство. Один в скором времени разбогател; у другого несмотря на все его трудолюбие хозяйство пошло плохо, он разорился и впал в крайнюю нужду. Он обратился за помощью к брату, но встретил отказ. Усиленными просьбами он добился только разрешения воспользоваться его лошадьми для спешной полевой работы. Отправившись в поле за лошадьми, он застаёт там каких-то людей, пахущих братнину пашню. На вопрос, кто они такие, один из них отвечает, что он — Счастье богатого брата: хозяин сам пьёт, гуляет, ничего не знает, а его Счастье на него работает. «Куда же мое Счастье девалось?», — спрашивает неудачник. «А твое Счастье вот там-то под кустом в красной рубашке лежит, ни днем ни ночью ничего не делает, только спит». Вооружившись толстой палкой, мужик подкрался к своему Счастью, и давай его бить изо всех сил, — за то, что оно о нем не заботится. Счастье посоветовало ему бросить крестьянское дело и в городе заняться торговлею. Послушавшись совета, бедный мужик уложил весь свой скерб, чтобы переселиться в город. Когда он перед отъездом наглухо заколачивал свою избенку, он услышал, что кто-то горько в ней заплакал. Это было Горе, покинутое хозяевами в пустой избе. Оно слезно молило взять и его с собою. Мужик для вида согласился и велел Горю влезть в порожний сундук. Этот сундук он запер

трем замками, да и зарыл его в землю. Сбыв, таким образом, Горе, он в городе занялся торговлей, и в скором времени разбогател. Проведав о том, богатый брат приехал и стал расспрашивать купца, как это он ухитрился из нищего богатым стать. Тот рассказал, как поймал Горе и где его зарыл. Охваченный завистью, богач выкопал сундук и выпустил Горе, предлагая ему снова разорить брата. Но Горе не согласилось: «Я лучше к тебе пристану; ты — добрый человек, ты меня на свет выпустил; а тот — лиходеи, в землю упрятал». Немного спустя завистливый брат разорился, и сделался голым бедняком.

На белорусском наречии, но почти без отступлений, эта самая сказка была записана в Могилевской губернии и сообщается в сборнике Шейна¹⁰.

Афанасьев озаглавил эту сказку «Две Доли». Но заслуживает внимания, что «Доли», или «Счастья», братьев в развитии действия не участвуют, и даже вовсе не выступают во второй части. Счастье бедного брата обещает ему помочь, если он займется купеческими делами, которые оно лучше знает, чем крестьянскую работу. Но на самом деле он богатеет оттого, что благодаря собственной находчивости сумел избавиться от обитавшего в его избе Гора. Не совсем понятно, далее, каким это образом Горе доводит богатого брата до нищеты, если о его благосостоянии неусыпно печется его Счастье. Тут есть некоторое противоречие: мотив «о двух Долях» первой части сказки и мотив «о Горе» второй части плохо вяжутся между собою. Очевидно, два рассказа, первоначально ничего общего между собою не имевшие, соединены вместе. И действительно, оба рассказа встречаются независимо друг от друга, — то отдельно, в виде самостоятельных сказок, то в соединении с разными другими сказочными темами.

Прежде всего, остановимся на первом рассказе. Общая схема его следующая. Противопоставляются друг

другу счастливец и неудачник. Счастливец во всем имеет удачу и, не прилагая никакого старания, сверх меры богатеет; неудачнику, напротив, ничего в прок не идет, и он несмотря на все усилия и все трудолюбие все более беднеет и впадает в крайнюю нищету. Неудачник при том или ином случае узнает, что разное счастье его и противоположаемого ему лица зависит от разного к обоим отношения каких-то демонических существ, олицетворяющих собою счастье, или долю, того и другого. Доля богатого неустанно на него работает и неусыпно о нем печется, доля же бедняка ничего не делает, и вполне равнодушно или даже враждебно относится к интересам своего хозяина. Но этот последний, открыв причину своих бедствий, делает внушение своей доле и заставляет ее исправиться. После этого он в скором времени достигает благосостояния.

В такой форме эта сказка очень распространена в России. Противопоставляемые друг другу лица обыкновенно — два брата, поровну разделившие отцовское наследство, — черта, не лишенная смысла и вполне целесообразная для экономии рассказа: ею подчеркивается первоначальное равенство материального положения обоих выводимых лиц. Перемена в счастье бедняка происходит обыкновенно оттого, что он по указанию своей Доли меняет род занятий. Образчиком может случить белорусская сказка, сообщенная Е. Р. Романовым¹¹.

Два брата поделились. Один быстро разбогател, хотя мало работал; другой при всем трудолюбии ничего не имел. Однажды бедняк вышел рано утром на свое поле и видит — по ниве брата кто-то ходит и собирает после жатвы колосья, складывая их в стоявшие на поле снопы. Оказывается, что это братнина Доля. «А моя где?», — спрашивает бедняк. «Лежит твоя Доля под яблоней в поповом саду, в красном жулане. Коли яблоко попадет в рот, она его съест, а не попадет, то и так живет». По со-

вету братниной Доли бедняк отыскал свою собственную, и стал ее стегать кнутом. Она объясняет, что не желает заниматься пахотой, и советует ему взяться за торговлю. Бедняк так и сделал; ему повезло, и стал он богатый-разбогатый купец.

Вместо двух братьев в других вариантах выступают богатч и его бедный работник¹², или богатый и бедный сосед¹³. — Доля счастливца обыкновенно изображается в виде красивой, одетой в белое¹⁴ женщины, переносимой колосья или снопы с поля бедного на поле богатого¹⁵, или пересеживающей плодовые деревья из сада бедного в сад богатого¹⁶, или загоняющей рыбу из сетей неудачника в сети счастливца¹⁷. Доля неудачника тоже чаще всего является под видом женщины: она валяется в лесу под дубом¹⁸ или «за пеньком за гнилым»¹⁹, спит на лесной поляне в образе дряхлой старухи, сверху обросшей мхом²⁰; обитает в дупле дуба в виде голой женщины²¹. Она «лежит на камне у реки вверх брюхом, да песни поет, да в гусли играет»²²; она гуляет и пляшет в трактире²³, спит на полу корчмы²⁴, торгует на рынке или у купца за лавками²⁵.

В одном случае Доли, как Счастье в приведенной выше сказке у Афанасьева, представлены лицами мужского пола — Доля неудачника в виде голого мужика, Доля богатого в виде мужика, нарядженного в хорошую одежду²⁶.

Иногда Доли выступают в виде животных. В варианте, сообщаемом из Галиции, Доля счастливца в виде мыши перетаскивает колосья из снопов бедного брата в снопы богатого²⁷; точно так же в варианте, записанном в Харьковской губернии, Доля бедняка выводится в виде мыши²⁸. Потебня (стр. 171) и Веселовский (стр. 221), которым известен был только галицкий вариант, придавали ему особое значение. Считая, вместе с Либрехтом и другими фольклористами, мышь «зооморфическим»²⁹ образом души, они видят тут след первобытного анимизма,

якобы подтверждающий исконное тождество доли с душою. Не вдаваясь в вопрос о том, с каким правоммышь принимается за олицетворение души, заметим только, что такое же символическое значение пришлось бы признать и за разными другими животными. Дело в том, что в иных вариантах Доля является то в виде утки, перетаскивающей на поле богатого брата посеянное бедным зерно³⁰, то в виде гадюки³¹, то в виде кошки³², то в виде щенка³³. Едва ли кто-нибудь станет утверждать, что все это ипостаси души, отголоски анимизма³⁴.

Перемена к лучшему в делах неудачника происходит обыкновенно оттого, что он по совету своей Доли бросает хлебопашество и берется за торговлю³⁵. В одном малорусском варианте он по указанию Доли открывает шинок³⁶, в другом — богатеет от пчеловодства³⁷; еще в другом сама Доля, исправившись от лени и нерадения, усердной работой доставляет благосостояние своему хозяину³⁸. — Есть, наконец, целый ряд вариантов, в которых Доля дарит бедняку какой-нибудь волшебный предмет, от которого он чудесным образом богатеет. Но тут мы имеем дело уже со сказками составными, агломеративными, в которых рассказ «о двух Долях» расширен прибавлением других самостоятельных сказочных мотивов. Отметим несколько таких сочленений.

Доля вручает неудачнику волшебный перстень, имеющий силу, по желанию его обладателя, вызывать одаренных сверхъестественными силами слуг³⁹, — мотив, широко распространенный в сказочной литературе⁴⁰. — Доля дает бедняку птицу (курочку, утку, гусыню), несущую золотые яйца и самоцветные камни⁴¹, — не менее излюбленный сказочный мотив⁴². — Дальнейшим развитием этой формы может считаться сложная сказка, записанная в разных местах Малороссии⁴³. Птица, подаренная неудачнику, оказывается обладающей чудесным свойст-

вом. Кто съест ее сердце (или голову), тому предстоит сделаться царем; а кто съест ее печень (или иную часть), тому суждено стать богатым (или королем, по иным вариантам). У владельца ее есть неверная жена, любовник которой, проведая о волшебном качестве птицы, желает им воспользоваться. Он уговаривает свою любовницу резать и изжарить драгоценную птицу. Но случайно сыновья хозяина съедают как раз чародейственные части приготовленного блюда, и один из них — после разных чудесных приключений — делается царем, а другой — богатым купцом (или королем). Таким образом, к мотиву о волшебной птице, дающей богатства своему хозяину, примкнул мотив о сообщении чудесных даров через вкушение той или иной части неизвестного животного⁴⁴, мотив, в данном случае осложненный в свою очередь другими сказочными эпизодами («неверная жена», «чудесное избрание на царство» и т. д.).

III

Рассказ о двух Долях, распространенный в столь многочисленных великорусских, белорусских, малорусских вариантах, встречается не только у русского, но и у многих других народов. Прежде всего, укажем на одну грузинскую сказку. Противопологаются друг другу богач, владелец бесчисленных стад и табунов, и бедняк, неимущий и ленивый. Бедняк случайно открывает, что за стадами богача ходит какой-то маленький человечек с сияющим, как огонь, лицом. Это — Счастье богатого хозяина. От него бедняк узнает, что его собственное Счастье спит под кустом на холме. Оно имеет вид высохшего, безобразного человека. На упреки бедняка его Счастье отвечает, что оно делает то же, что он сам. Если он станет трудиться, то и оно возьмется за работу. Бедняк одумал-

ся, принялся за работу; перестало бездействовать и его Счастье, и он разбогател, и зажил счастливо⁴⁵.

По смыслу своему эта сказка очень близка к русской; она заходит только еще далее, ставя Долю в зависимость от образа действий связанного с нею человека.

Иную мысль проводит сербский рассказ, вошедший в сложный сказочный комплекс, прекрасно изложенный еще Вуком Караджичем⁴⁶ и пользующийся поэтому большой известностью. Из двух братьев, разделивших отцовское имущество, один был беспечен и ленив, но во всем преуспевал. У другого несмотря на его трудолюбие все шло не впрок, и он разорился. Отправившись однажды к брату, чтобы посмотреть его житье, он по дороге встречает прекрасную девицу, пасущую стадо овец и прядущую золотую нить: это Среча (= Доля) богатого брата, наблюдающая за его имуществом, виновница его благосостояния. Она сообщает неудачнику, что его собственная Среча находится где-то далеко. От брата, сжалившегося над его бедностью, бездельный получает пару постолов, и идет дальше, чтобы разыскать свою Сречу. В лесу он находит грязную, безобразную старуху, спящую под дубом, и будит ее ударом палки. Открыв гнойные глаза, старуха в ярости восклицает: «Благодари Бога, что я спала, а то не видать бы тебе и этих постолов!» — Продолжение сказки составлено из разных мотивов, ничего общего с рассказом о двух Долях не имеющих. Узнав, что злая Среча дана ему Усудом, бездельный отправляется к последнему, чтобы спросить его о причине столь несправедливого к нему отношения. По дороге туда разные лица поручают ему вывести у Усуда, почему то или другое у них не ладится, — мотив, широко распространенный в сказочной литературе многих народов⁴⁷. От Усуда неудачник узнает, что счастье или несчастье человека зависит от времени его рождения: отзвук античного верова-

ния в «род» (*genesis, genitura*)⁴⁸. Тем не менее Усуд указывает бездельному средство, как избавиться от прирожденной ему неудачливости: он советует ему жениться на дочери счастливого брата, что тот и исполняет, после чего во всем имеет удачу.

Выделенный нами из сложного сербского повествования рассказ о двух Долях по материальному содержанию до мелочей совпадает с русской сказкой: те же два брата, разделившие отцовское наследство, то же посещение неудачника бездельным, те же подробности в изображении Долей обоих братьев: Доля счастливица в виде прекрасной девицы работает на своего хозяина, Доля неудачника спит в лесу под деревом⁴⁹. Тем не менее, основная идея противоположна смыслу русской сказки. В сербском рассказе проводится мысль, что бездельный никак и ни в чем не может иметь удачи: не без юмора изображается, как даже малейшая выгода может ему достаться разве что только благодаря временной, случайной оплошности его Доли.

Ту же самую тенденцию имеет неаполитанский проstonародный рассказец, сообщенный Р. Кёлером⁵⁰ из малоизвестного сборника какого-то Michele Somma. Суть этого рассказа состоит в следующем: какой-то богач, тяготясь своим чрезмерным счастьем, дарит своему бездельному слуге полпиастра и посылает его к своей Доле, чтобы он упросил ее не взыскивать его более своими милостями, так как у него уже всего более чем вдоволь. Слуга отправляется, и на высокой горе находит Долю своего господина в виде прекрасной молодой женщины. Она объявляет ему, что никогда не перестанет осыпать его господина своими благостынями. На той же горе слуга находит и свою собственную Долю в виде отвратительной злой старухи. Она с бранью набрасывается на неудачника и кричит, что даже те полпиастра он никогда не полу-

чил бы, если бы она случайно в то время не вздремнула.

С этим рассказом Р. Кёлер сопоставил андалузское народное повествование⁵¹, отличающееся только следующей подробностью: бедняк, который тут является не слугою брата, а посторонним ему человеком, перед тем как отправиться на гору, где обитают Доли⁵², вступает в весьма неудачный для него торг с богачом. Отвергнув предложенное хорошее вознаграждение как слишком малое, он затем, одумавшись, соглашается; но тут богач дает уже меньшую сумму; бедняк снова отказывается и снова соглашается; тогда богач опять уменьшает вознаграждение, и т. д. В конце концов, бедняк отправляется в путь за незначительную часть первоначально предложенной суммы.

Что этот мотив, напоминающий собою покупку царем Тарквинием Сивиллиных книг⁵³, есть исконная часть рассказа, доказывает третий приводимый Р. Кёлером памятник. Это — первая повестенка составленного итальянским гуманистом Лаврентием Абстемием сборника, напечатанного в 1499 году под заглавием *Necatomythium Secundum*⁵⁴. В ней богач так же посылает бедняка к Фортуне с тем же поручением, предлагая за путь 100 золотых. Бедняк так же отказывается, но после неудачного торга, в конце концов, идет за 10 золотых. Отыскав Фортуну, он просит ее не давать богачу новых богатств, которыми тот только тяготится, а лучше уделить кое-что ему, с молодости живущему в постоянной нужде. Но Фортуна отвечает: «я по-прежнему буду умножать состояние богача, тебя же заставлю весь век прожить в крайней бедности. Знай, что и тех десяти золотых ты никогда не получил бы, если бы я в то время не спала». Вместо личных Долей богача и бедняка, выводимых в предыдущих рассказах, у Абстемия выступает одна Фортуна, которая к одному лицу относится благосклонно, к другому враждебно. В этом нельзя не видеть искажения первоначальной кон-

цепции. Выходит даже не совсем последовательно: сон Фортуны отзывается на судьбе бедняка, но на судьбу богатого не оказывает влияния. Очевидно, и тут первоначально выступали две индивидуальные Доли, одна счастливая, другая несчастная.

К трем повестенкам, сопоставленным Р. Кёлером, можно прибавить калабрийскую сказку, содержание которой сообщает А. Н. Веселовский по одному местному периодическому изданию⁵⁵. Рассказ в ней значительно сокращен. Не только пропущена сцена торга, но бедняк вообще не получает вознаграждения за исполнение поручения богача. Отсутствует поэтому и характерное заявление Доли бедняка, что он только благодаря ее временному невниманию успел несколько пожить. Сокращения эти отчасти объясняются тем, что к мотиву о двух Долях примешаны другие, из которых главный, по замечанию г. Веселовского, напоминает собою известную сказку о кошке Виттингтона.

В еще более скомканном и искаженном виде рассказ о двух Долях входит в состав сложной сицилийской сказки в сборнике г-жи Гонценбах⁵⁶, составляя лишь эпизод среди других мотивов. В интересующей нас части этого сказочного комплекса рассказывается, как какая-то богатая барыня посылает свою бездельную служанку на высокую гору с поручением отыскать ее Долю и поднести ей хлеб⁵⁷. Доля богатой барыни в виде прекрасной, статной женщины благосклонно принимает подношение и показывает служанке ее собственную Долю: она, оказывается, спит, укрывшись семью одеялами, и потому не слышит, когда бездельная вызывает к ней в своих бедах. Разбуженная, она весьма неприветливо встречает бедняжку, и только по заступничестве другой Доли смягчается и дарит девушке моточек красного шелку, благодаря которому несчастная служанка впоследствии делается невестой королевича.

Скомканный и обесцвеченный вариант представляет собою другая сицилийская сказка, помещенная в сборнике Питрэ⁵⁸. — Наконец, этот самый рассказ в сокращенном и измененном виде вошел в состав румынской сказки, содержание которой сообщает А. Н. Веселовский⁵⁹. Румынский вариант в некоторых отношениях стоит ближе к сказке у г-жи Гонценбах, чем вариант у Питрэ; но ни в том, ни в другом нет той весьма характерной черты, что причиною бедствий, постигающих несчастную девушку, является непробудный сон ее Доли.

Рассказ о двух Долях существует также у современных греков. В сказке, сообщаемой Ганом⁶⁰, неудачник, нашедши свою Долю, хватает ее за волосы и не отпускает, пока она не обещает сделать его богатым. Доля дарит ему курицу, несущую золотые яйца и обладающую еще другим чудесным качеством: кто съест ее голову, сделается царем, кто съест ее сердце, будет ведаць сердца людей, кто съест ее печень, станет богачом. Развитие действия идет по обычной схеме. Поимка Доли неудачником — без всякого сомнения <есть> сокращение более полного мотива «о двух Долях». Это и само по себе ясно и подтверждается указанными выше малорусскими вариантами, в которых мотив о двух Долях также связан с мотивом о чудесной птице.

Рассказ о двух Долях в Греции, по-видимому, был известен уже в XVI столетии. В византийской поэме, озаглавленной в сохранившейся ее рукописи (XVI века) «Утешительное слово о Счастье и Несчастье»⁶¹, замечается некоторый, хотя и отдаленный, отзвук его. Поэма эта по главному содержанию и общему складу представляет собою сказку типа «путешествия к судьбе»⁶². Бездольный юноша, предпринимаящий это путешествие, попадает сначала к богу времени Хроносу, затем к Несчастью (Lu-strukhia) и Счастью (Eutukhia). Но кроме того он встреча-

ет еще двух женщин — безобразную старуху и прекрасную, раздетую в богатое белое платье девуцу. Первая — служанка Несчастья, вторая — служанка Счастья. Появление этих фигур совершенно излишне для экономии рассказа; они никакого участия в развитии действия не принимают. Автор поэмы, очевидно, взял их готовыми из какого-нибудь другого произведения — по всей вероятности, из рассказа о двух Долях; но он не понял ни значения самих фигур, ни смысла их встречи с бездольным юношей.

IV

Итак, сказка о двух Долях встречается у русских, грузин, сербов, греков, румын, итальянцев, испанцев. В северозападной Европе она, по-видимому, неизвестна. По крайней мере, просмотрев многочисленные сборники сказок немецких, затем скандинавских и французских, мы не нашли ни одного следа нашего мотива. Еще доказательнее, конечно, то, что такие знатоки фольклора, как R. Koehler и Веселовский, не указывают ни одного северо-западного варианта.

Заслуживает внимания разница в тенденции рассказа. В сербской, неаполитанской, андалузской сказках и в повестенке Абстемия проводится мысль, что бездольный человек всегда и во всем имеет неудачу; а если на его долю и выпадает какая-нибудь незначительная выгода, то это — успех случайный, временный, обусловленный случайным невниманием в данный момент его Доли.

Совершенно иная идея лежит в основании русских сказок, а именно: даже самый несчастный, бездольный человек все-таки может при случае поправиться, избрав, напр., соответствующий его дарованиям род занятий. К русским сказкам примыкает грузинская, в которой, однако, эта идея

получила слегка морализирующий оттенок: если человек сам исправляется, то исправляется и его судьба.

Мы имеем, стало быть, две главные группы вариантов. В первой, которую мы обозначаем буквою А, принадлежат многочисленные русские и грузинский варианты; вторую, обозначаемую нами буквою В, составляют сербский, неаполитанский, андалузский и вариант Абстемия. В сказках калабрийской, сицилианской и румынской неудачник (или неудачница) в конце концов тоже достигает улучшения своей участи, как в группе А, но это является последствием того, что в них с мотивом о двух Долях слиты иные мотивы. Та черта, что неудачник по поручению счастливицы отправляется отыскивать Долю последнего и при этом находит свою собственную, сближает их со сказками неаполитанской и андалузской и с повестенкой Абстемия. В новогреческой сказке эпизод с Долей слишком фрагментарен, чтоб можно было с определенностью сказать, к которой из двух групп она относится; но совпадение ее второй части (мотив чудесной курицы) с малорусским сказочным комплексом (см. выше) говорит в пользу ее принадлежности к группе А.

В тесной связи с различием основной идеи находится разница в изображении непосредственной причины, обуславливающей неудачу бедняка. В группе А этой причиной является нерадение Доли: она совсем забыла о вверенном ее попечению человеке, гуляет себе беззаботно или спит непробудным сном. В группе В, наоборот, Доля зорко следит за зависящим от нее человеком, препятствуя всякому улучшению его положения.

Несмотря на противоположную тенденцию и на различия в частностях изложения, обе группы не представляют собою разных, не зависящих друг от друга концепций; это — два извода одного и того же основного рассказа. Соединительным звеном между ними является

сербская сказка. По своей идее она принадлежит к группе В: бедняк ни в чем не может иметь успеха, потому что его Доля настроена враждебно, и ревниво следит за тем, чтобы не произошло какого-нибудь улучшения в его делах; даже подаренные братом постолы он получил только благодаря случайной оплошности с ее стороны. Но в то же время внешние рамки рассказа и его частности вполне совпадают с группой А: перед нами два брата, разделившие отцовское наследство; бедняк отправляется к богачу за помощью и по дороге находит Долю брата; свою собственную Долю неудачник будит ударами палки — все черты, свойственные группе А, но не встречающиеся в В.

Вопрос о том, который из двух народов сохранил рассказ в более первоначальном виде, трудно решить. Извод В отличается искусной, рассчитанной на эффект композицией и иронизирующим остроумием — качества, придающие рассказу как бы характер эпиграммы. В [группе] А, напротив, благодушная мысль выражена в незатейливой форме. Можно было бы поэтому предполагать, что извод В (западный) произошел из А (восточного), представляя собою дальнейшее его развитие. Но возможно также, что, наоборот, более искусный и сложный рассказ В со временем был упрощен и, потеряв стройность композиции и элемент иронии, преобразовался в извод А. — Как бы то ни было, сравнение обоих изводов не дает никаких указаний на историю рассказа.

К более определенному выводу приводит рассмотрение того представления, которое лежит в основе рассказа. Ясно, что он предполагает веру в зависимость каждого отдельного человека от особого демонического существа, направляющего его судьбу и как бы олицетворяющего ее собою. Только у народа, верующего в такую личную, индивидуальную Долю каждого человека, мог создаться подобный рассказ. Правда, приходится допустить возможность,

что, раз сложившись, такой рассказ мог перейти и к народам, не имеющим этой веры. Мало того, широко распространившись, он местами даже мог вызвать такую веру. В некоторых местах Малороссии несомненно существует вера в личную Долю; материал, собранный П. В. Ивановым⁶³, не позволяет в том сомневаться. Но весь вопрос в том, возникла ли эта вера тут органически из общего мирозерцания народа или же является она следствием широкого распространения занесенного извне рассказа о двух Долях? Мы склонны предполагать последнее; по крайней мере, мы не знаем фактов, которые давали бы право ставить эту веру в органическую связь с общим мировоззрением малорусского или вообще русского народа. Правда, Веселовский, как мы видели выше, сделал попытку связать верование в личную Долю с культом предков и первобытным анимизмом славян. Но эта априорная конструкция, как мы убедились, не выдерживает критики по самому методу своему; к тому же, она противоречит свидетельству Прокопия [Кесарийского] о том, что славяне не знали идеи Судьбы и не признавали ее влияния на людей⁶⁴.

Вполне понятным и естественным представляется верование в личную Долю с точки зрения римской религии. Одним из характерных свойств последней была склонность специализировать функции отдельных божеств и соответственно с этим расщеплять и дробить самое понятие божества, — дифференцировать его почти до бесконечности. Рука об руку с этим стремлением идет противоположная тенденция: интегрировать понятие божества, то есть объединять, суммировать, сливать воедино отдельные его проявления. Указанная особенность римской религии прекрасно выяснена в статье проф. Ф. Ф. Зелинского⁶⁵, к которой и отсылаем читателя.

Древняя богиня Фортуна, почитавшаяся земледельческим населением Лациума как подательница урожая



Фаддей Францевич Зелинский

и приплода (Fortuna от ferre = приносить), у городских жителей стала богиней удачи и счастья вообще. В силу отмеченного стремления к дифференциации она со временем распалась на необозримое число отдельных, специальных Фортун, приуроченных к определенным временам, местам, деятельности. Почиталась, напр., Фортуна, ведущая к победе (Fortuna Dux), Фортуна, возвращающая войско из похода (Fortuna Redux), Фортуна, дарующая победу в конном сражении (Fortuna Equestris), Фортуна сегодняшнего дня (Fortuna huiusce diei), Фортуна бань (Fortuna balneorum), Фортуна амбаров (Fortuna horreorum) и т. д.⁶⁶. Дифференцируется также круг лиц, подвластных Фортуне. Рядом со всем римским народом (Fortuna populi Romani) отдельные группы людей получают свою Фортуну. Бесчисленные надписи императорской эпохи называют нам Фортуны такой-то коллегии, Фортуны такого-то легиона или такой-то когорты, Фортуны такого-то рода, Фортуны такой-то семьи⁶⁷. Дальнейшая в этом направлении дифференциация логически приводит к представлению о Фортуне отдельных лиц. И действи-

тельно, вера в личную, индивидуальную Фортуна, или Долю, хорошо засвидетельствована как римскими писателями, так и надписями. Становясь личной Долей, Фортуна сливается с гением, этим таинственным двойником человека, рождающимся и умирающим вместе с ним и оказывающим решающее влияние на его судьбу⁶⁸. Итак, вера в личную Фортуна возникла путем естественной эволюции из основных религиозных представлений римлян, без всякого влияния анимизма. Эта вера встречается уже в республиканский период Рима; она усиливается в эпоху императоров, достигая особой интенсивности в последние времена древности. Насколько она была распространена в IV в. по Р. Х., видно хотя бы из того, что у историка этого времени Аммиана Марцеллина индивидуальные Фортуны императоров и других выдающихся лиц являются одним из факторов, регулирующих ход мирового исторического процесса⁶⁹.

Таким образом, почва, на которой только и мог возникнуть рассказ о двух Долях, была создана римской религией. Значит ли это, что он сложился непременно у римлян? Мы допускаем и другую возможность. Мыслимо, что вера в индивидуальную Фортуна перешла от римлян в готовом виде к другим народам⁷⁰, и уже у одного из них привела к созданию нашего рассказа. Но на римлян указывает еще одна особенность последнего — разумею ту черту, что Доли изображаются одна бодрствующей, другая — спящей. Это чисто римское представление. По верованию римлянина позднейшего времени, удачливость или неудачливость человека зависит от того, бодрствует или спит его Фортуна. Когда император Констанций в 354 г. выступил в поход против германцев, его солдаты не ждали успеха, будучи уверены, что Констанций имеет удачу только в борьбе с внутренними, а не с внешними врагами: «его Фортуна, — говорили они, —

бодрствовала только в междоусобных войнах»⁷¹.

Такое представление могло легко возникнуть именно у римлян, потому что у них глаголы «бодрствовать» и «спать» часто употреблялись в переносном значении в отношении к богам, пекущимся или не пекущимся о человеке, а затем и в отношении к олицетворяемым нравственным понятиям. Перед сражением воины обращались к Марсу с возгласом: «Марс, бодрствуй!»; Венера «спит» при неудачном любовном союзе; безнаказанно нарушаемый закон тоже «спит» и т. д. Правда, образ бодрствующей или спящей Доли встречается и у немецких поэтов, начиная с IX в.⁷² Но так как он не вытекает из общего словоупотребления немецкого языка, то тут возможны только два предположения: или один лишь образ спящей и бодрствующей Доли перешел к тому времени от римлян к немцам, или же весь рассказ о двух Долях, возникши у римлян, был тогда уже известен в Германии⁷³. Против второго предположения говорит как будто бы то обстоятельство, что как раз у немцев до сих пор не удалось отыскать другого следа нашей сказки. Древнейшее свидетельство о ней — повестенка Абстемия — ведет нас в Италию.

Что касается до времени возникновения рассказа о двух Долях, то по этому вопросу с достоверностью можно сказать только следующее. Абстемий передает сказку в искаженном и сокращенном виде; стало быть, она существовала уже до него. Но сложилась ли она еще в исходе древности или уже в средние века, во всяком случае тот субстрат, без которого ее происхождение немислимо, — *римская культура*. Представление о личной, индивидуальной Доле выросло из римских верований, и образ Доли бодрствующей и Доли спящей основан на метафоре, свойственной латинскому языку. Для мифологии и религиозных представлений древних славян из сказки о двух Долях ничего извлечь нельзя.

V

Убедившись, таким образом, в полной самостоятельности мотива «о двух Долях», мы возвращаемся к великорусской сказке из сборника [А. Н.] Афанасьева, с которой мы начали рассмотрение сказочного материала. Если из этой сказки исключить мотив «о двух Долях», то получается вполне законченный рассказ, который мы можем назвать сказкой «о пойманном и вновь выпущенном Горе».

Основные черты этого рассказа следующие: бедняк, угнетаемый всякого рода неудачами и дошедший до крайней нищеты, случайно открывает, что причина всех его бедствий какое-то демоническое существо, олицетворяющее собою несчастье. Оно ни на шаг не отходит от горемыки, и заставляет его жить в безысходной нужде. Бедняку, однако, удается хитростью заманить своего притеснителя в западню и закопать в землю (или бросить в воду). После этого он быстро поправляется и достигает полного достатка. Другой человек — обыкновенно богатый брат бывшего горемыки, отказывавший ему раньше во всякой помощи, — завидует его внезапно появившемуся благосостоянию. Выведав, отчего произошла перемена в обстоятельствах бедняка, он освобождает заключенного демона с тем, чтобы тот продолжал угнетать свою прежнюю жертву. Но демон предпочитает пристать к своему освободителю, говоря, что тот — лихой человек, чуть не заморил его долгим заключением; выпустивший же его на свободу — человек добрый, с которым хорошо жить. Завистник в скором времени из богача превращается в нищего. — Как видно, суть и главный смысл этого рассказа состоит в наказании завистника и в саркастической мотивировке этого наказания.

Рассказ этот встречается как в соединении с другими сказочными мотивами, так и в виде самостоятельной

сказки. Нам известны варианты великорусские, малорусские, польские, немецкие. Демоническое существо, олицетворяющее собою несчастье, называется то Горем, то Нуждою, то Бедою, по-немецки — *Unsaelde* или *Unge-lueck*⁷⁴; в малорусских вариантах таким олицетворением несчастья обыкновенно выступают Злыдни, представляющие собою, по удачному объяснению Веселовского, нечто иное, как перевод византийских *kakai emeraï*⁷⁵.

Рамки рассказа бывают различны. Наиболее естественно, что бедняк, как в сказке у Афанасьева, открывает присутствие демонического существа в тот момент, когда он, в отчаянье от постоянных неудач, выселяется из своей родины, чтобы в новом месте искать лучшего счастья. Покинутый в пустом доме демон просит взять и его в новое место, и попадает в ловушку. Перед тем как решиться на такую крайнюю меру, как выселение в чужое место, бедняк обращается к богатому брату за помощью, но получает отказ. Это прием, вполне целесообразен с точки зрения художественной композиции сказки: им подчеркивается бессердечность богатого брата, так что постигающее его за его зависть наказание является вдвойне заслуженным. Как образчик позволяем себе привести малорусскую сказку, сообщенную И. И. Манжурою.

Были себе два брата, богатый и убогий. Убогий в крайней нужде обратился к богатому с просьбою дать ему хоть кусочек хлеба, но получил отказ. Тогда он задумал выселиться. Уложив весь свой скarb, он заметил на чердаке («на горищі») маленького человека, который назвался его Бедою и выразил надежду, что и его возьмут с собою. Когда бедняк стал отговариваться неимением места, Беда сделала маленькою, как иголка, чтобы занять как можно меньше места. Воспользовавшись этим, бедняк заманил Беду в кость, забил ее и забросил в речку. В новом месте он разжился. Богатый брат позавидовал

его счастьем и, узнав, где потоплена Беда, выловил ее, чтобы снова напустить на брата. Но Беда увязалась за ним самим, и в скором времени его разорила.

Эта схема рассказа иногда бывает расширена посторонними мотивами. Так, в малорусскую сказку, записанную [М. А.] Максимовичем⁷⁶, вставлен мотив о чудесном старце, за мощу с золотом покупающем у бедного брата «спасибо», которое тот вместо всякой помощи получил от старшего брата за поднесенный скромный подарок.

Так как обращение бедного брата к богатому встречается и в сказке «о двух Долях», то она легко могла слиться со сказкою «о пойманном Горе». Такое соединение обоих мотивов мы имеем, кроме сказки у Афанасьева и ее белорусского варианта, еще в галицийской сказке у Игнатия из Никловичей⁷⁷ и в малорусской сказке, сообщенной Л. И. Боровиковским⁷⁸. В этой последней обращение бедняка к богатому брату стоит в двух разных местах: шов еще налицо. В остальных, лучше скомпонованных, оно не повторено — шероховатость изглажена.

Если обращение к брату вполне отсутствует, то рассказ или оказывается вообще сильно сокращенным, как, напр., в малорусской сказке, сообщаемой В. Н. Ястребовым⁷⁹, или значительно уклоняется от общей схемы. Сюда относится польская сказка «*Blada rapna*» в сборнике К. Балинского⁸⁰. В ней вместо бедного и богатого братьев выводятся помещик и его захудалый арендатор. Причиной, заставляющей бедняка выселиться, является не столько безысходная нужда, сколько ухаживанья старого помещика за красивой дочерью арендатора. Когда бедняк уложил вещи, в покинутой им пустой хижине появляется худая, бледная девушка и, назвавшись Бедою, просит взять и ее. Хитрый мужик заставляет ее взяться за стоявший во дворе полурасколотый пень и, выдернув клин, ущемляет ее руку, так что она не может двинуться с места.

Помещик находит Беду, освобождает ее, а она привязывается к своему благодетелю и доводит его до нищеты, тогда как арендатор в новом месте разживается. Как видно, в этой сказке, помимо прочих искажений первоначальной концепции, отсутствует черта, что обнищание богача является наказанием за его зависть. Утратив эту столь характерную черту, рассказ лишился главного смысла.

Со временем в рассказе все более выдвигается обращение бедняка к богатому брату, заслоняя собою мотив выселения. У богатого брата происходит пир по случаю какого-нибудь радостного семейного события (крестины, свадьба сына, именины и т. д.). Бедный брат не получил приглашения, но является без зова. Несмотря на близкое родство с хозяином, на него не обращают никакого внимания, и он даже подвергается оскорблению. На обратном пути домой он в глухом месте встречает демона несчастья, ловит и заключает его, после чего в его обстоятельствах происходит внезапная перемена к лучшему. Богатый брат из зависти освобождает демона и несет известное нам наказание. Образчиком может служить малорусская сказка, записанная М. К. Васильевым⁸¹.

Жили два брата, один богатый, другой бедный. Богатый женил сына и устроил пир, но брата не позвал. Тот, однако, явился без приглашения, вместе с женою, и был принят весьма нелюбезно. Возвращаясь вечером домой, бедняк и [его] жена затянули песню и услышали за собою третий голос. На вопрос: «кто ты такой?» получился ответ: «мы твои злыдни; оттого-то ты и беден». Бедняк давай их бить колом, и, убив, отволол злыдней (их оказалось три) в трясины, загрузил то место и воткнул кол. После этого он быстро разбогател. Богатый брат позавидовал и т. д.

Таким же образом, подпевая бедняку и его жене, возвращающимся со свадебного или именинного пира у богатого брата, дают о себе знать Нужда в сказке

А. А. Эрленвейна⁸² и Горе в сложной сказке у А. Н. Афанасьева⁸³, расширенной удвоением мотива поимки и вставкою посторонних элементов. На обратном же пути после крестин или именин у богатого брата встречает Беду бедняк в польской сказке, сообщаемой Зигмундом Глогером⁸⁴, и в малорусской сказке, записанной И. И. Манжураю.

При таком построении рассказа возникает вопрос: откуда берется демон, являясь бедняку во время его возвращения от богатого брата? и почему он именно в данный момент обнаруживает свое существование? Можно было бы думать, что демон несчастья предполагается живущим в глухой лесной чаще, как Доля неудачника в сказке о двух Долях и другие демонические существа. В пользу такого мнения можно было бы привести средневерхненемецкое стихотворение неизвестного автора, относящееся, по всей вероятности, еще к XIV столетию⁸⁵. Содержание его следующее: рыцарь, испытавший много бедствий и навлекший на себя гнев своего властелина, убежал в дремучий лес. Сидя под деревом и поедая скудный ужин, видит он над собою в ветвях какое-то чудовище, которое объявляет, что оно — его несчастье (*ich bin din ungeluecke*). Рыцарь предлагает ему сойти и разделить с ним его скромную еду. Как только демоническое существо спустилось, рыцарь его заключает — неясно каким образом — в дуб. Вернувшись ко двору, он во всем имеет успех. Какой-то завистник, узнав о происшедшем, пожелал напасть на рыцаря и, отправившись в лес, освободил Несчастье. Оно, однако, вместо того чтобы снова напасть на рыцаря, вскочило на шею завистника и, не покидая его ни на минуту, сделало из него несчастного горемыку.

Но лес не есть свойственное демону несчастья местопребывание: он попадает сюда вместе с неудачником, к которому привязался. Это с полной очевидностью явст-

вует из стихотворения миннезингера Рейнмара фон Цвектера⁸⁶, жившего приблизительно на столетие раньше, чем автор только что рассмотренного анонимного стихотворения. Вот содержание Рейнмарова стихотворения: какой-то горемыка решил покинуть родное место, где он ни в чем не имел удачи, и поискать счастья на чужой стороне. О его намерении узнало Несчастье (*Unsaelde*) и тоже отправилось в путь. Дошедши до какого-то леса, неудачник стал хвалиться: «Ушел я от тебя, Несчастье!» Но Несчастье тут как тут, и говорит: «Нет, победа за мною, не убежал ты от меня: на собственной твоей шее ты меня сюда донес». Убедившись в невозможности уйти от Несчастья, горемыка вернулся домой.

В этом рассказе нет того, что составляет главное содержание разбираемых нами сказок — ни уловления демона, ни его освобождения, ни наказания завистника. Тем не менее, его связь с этими сказками очевидна. Для нас пока интересна та черта, что демон вместе с неудачником переходит из его дома в лес. Очевидно, и в тех сказках, в которых демон является неудачником во время возвращения с пира у брата, должно предполагать, что он еще из дому сопровождал свою жертву. В упомянутой выше сказке из сборника Эрленвейна, впрочем, прямо говорится, что Нужда сидит на плечах несчастливца, когда она обращается к нему во время обратного пути с пира у богатого брата; и с плеч своих хватает ее горемыка, чтобы ее посадить в кобылью⁸⁷ голову, а затем затолочь в трясину. Дальнейшим подтверждением служит анонимное немецкое стихотворение XV века — произведение майстерзанга⁸⁸. Какой-то бедняк отправился зимою в лес, чтобы нарубить дров, и *Unsaelde последовала за ним*. Вогнав клин в большой пень, он попросил Несчастье помочь ему и при этом случае ущемил его руку. Освободившись от своего мучителя, бедняк разбогател. Жена его брата

позавидовала его благосостоянию и, узнав, как он сбыл Несчастье, побежала в лес и освободила его. Но Unsaedle не пожелала вернуться к прежнему хозяину. «Я теперь убедилась, что он коварный человек, и если я ему еще раз попадусь, он меня и совсем со света сживет. Ты же благодетельствовала меня, и я с тобою никогда не расстанусь».

Наконец, и в двух малорусских сказках, записанных П. П. Чубинским⁸⁹, демон несчастья отправляется в лес вместе со своим хозяином из хаты последнего. В одной из них мы имеем диттографию — мотив поимки демона удвоен (№ 111, с. 396). Бедняк, желая отогнать тоску, заиграл на скрипке. Вместе с его детьми вышли танцевать и злыдни, вылезши из-под печки. Бедняк заманил их в пустую бочку, которую затем вынес в поле. После этого он во всем имел удачу и разбогател. Старший брат позавидовал, и заставил младшего пойти с ним на поле и открыть бочку. Злыдень тотчас же снова вцепился младшему брату в шею. Тогда он решил выбраться из своей хаты вместе с женою и детьми: «життя не буде нам, знову злыдень є!» Пошли все в лес и, вздумав разложить огонь, срубили сосну. Чтобы ее расколоть, все заложили руки в щель, злыдень тоже. Мужик вынул клин и ущемил ему руки «трохи не по самі лікті». Тогда вся семья вернулась домой, и «живуть собі, як слід».

В другой сказке (№ 110, с. 393) выезд в лес соединен с обращением к богатому брату. На крестины у последнего явился и бедный, которого Злыдни довели до нищеты. Он, однако, не решился сказать, что пришел в гости, а попросил конячки (сиречь лошадку. — А. П.), чтобы в лес поехать. Получив коня, он вернулся домой и пригласил Злыдней отправиться вместе с ним в лес. Они сели на воз (их было 12) и поехали. В лесу мужик попросил Злыдней помочь ему расколоть срубленный дуб. Они засунули руки в щель; мужик вынул клинья, и Злыдни оказались пой-



Общий вид Верхнего города, на переднем плане — корпус Института благородных девиц, фото 1910-х из архива А. Ю. Клековкина



Корпуса Киевского политехнического института, фото 1900-х из архива А. Ю. Клековкина

манными. Богатый брат по неведению (мотив зависти отсутствует в этом варианте) освободил их; они набросились на него и довели его до нищеты. Бедняк же разбогател.

VI

С упомянутым выше стихотворением Рейнмара Я. Гримм⁹⁰ сопоставил польское сказание о демоне Искрицком. К какому-то пану нанялся экономом человек по имени Искрицкий. Живя невидимкою за печью, он добросовестно исполнял все работы и оказывал хозяевам всевозможные услуги. Но хозяйка боялась нечистой силы, и так как Искрицкий не соглашался оставить службу до установленного наемным договором срока, то она уговорила мужа переселиться в другое имение. Во время переезда по плохой дороге повозка чуть было не опрокинулась. Хозяйка от испуга громко вскрикнула, но сзади раздался голос: «не бойтесь, пани, Искрицкий с вами!» Тогда помещик и его жена убедились, что им не уйти от своего чрезмерно привязанного слуги. Они вернулись на старое место, и Искрицкий им верно служил до окончания срока⁹¹. Можно согласиться с Гриммом, что Искрицкий, живущий за печью и самым именем своим обнаруживающий свою связь с огнем, соответствует русскому домовому, немецкому кобольду, имеющим также близкое отношение к домашнему очагу⁹². Но едва ли прав знаменитый ученый, предполагая, что рассказ, сообщенный Рейнмаром, первоначально относился к домовому-кобольду, место которого якобы и занял впоследствии демон несчастья. Домовой, будучи представителем и хранителем дома, в силу этой своей основной функции прикреплен к месту. В известных случаях он, правда, может переселиться вместе с хозяином в новое место, но чрезмерная привязанность к личности хозяина вовсе

нехарактерна для него и не вытекает из его сущности. Еще менее соответствует его основному характеру та неотвязчивость, которую проявляет демон несчастья в рассмотренных нами рассказах. Признавая вместе с Гриммом сходство между стихотворением Рейнмара и польским сказанием, мы, однако, думаем, что не Unsaelde вытеснила Искрицкого, а, наоборот, последний занял место демона несчастья. Только в таком случае понятен основной мотив рассказа — бегство. От добродушного и услужливого домового нечего было убежать хозяйну. Благочестивые сомнения хозяйки — слишком недостаточная, неудачно придуманная мотивировка.

На другую черту сходства между демоническим существом, олицетворяющим собою несчастье в нашей сказке, и домовым, указал А. А. Потебня⁹³. Дело в том, что в некоторых вариантах Злыдни, Беда, Нужда и т. д. изображаются живущими за печкою⁹⁴ или на чердаке⁹⁵, — местах, являющихся излюбленным местом пребывания домового. Из этого, однако, еще не следует, что Злыдни, Нужда, Горе и т. д., с одной стороны, и домовый, с другой, — родственные по существу фигуры, как то утверждает Потебня. Еще менее основателен вывод, делаемый А. Н. Веселовским, будто между демонами несчастья и домовым (а через него и с «родом») существует генетическая связь. Указанное сходство объясняется просто тем, что черты, свойственные более известному и близкому для народа домовому, были перенесены на демона несчастья. Относительно же природы и происхождения последнего образа из этого обстоятельства никаких заключений делать нельзя.

Не объясняет нам исконного значения этого образа и его сходство с т. наз. Aufhocker'ами, по терминологии немецких фольклористов. Aufhocker это демоническое существо, невзначай вскакивающее на плечи человеку

и заставляющее нести себя⁹⁶. Так и Unsaelde у Рейнмара, Ungelgruske в анонимном немецком стихотворении, Нужда у Эрленвейна, Горе у Афанасьева (№ 171), Злыдень у Чубинского (№ 111) крепко засели на шее своей жертвы. По Лайстнеру⁹⁷, образ Aufhocker'a возник из ощущений, испытываемых человеком во время тяжелого, беспокойного сна: Aufhocker это кошмар. Лайстнер чрезмерно обобщил свою теорию, слишком односторонне и прямолинейно производя большую часть мифологических представлений от ощущений Alptraum'a: но в данном случае его объяснение вполне применимо⁹⁸. Мы желали бы только рядом с *asthma nocturnum* допустить и другой источник этого представления: чувство, которое испытывает человек, убегающий вследствие внезапного безотчетного испуга: ему кажется, будто за ним кто-то гонится, и готов вскочить ему на плечи. Глухая лесная чаща, могилы и кладбища легче всего вызывают такого рода страхи. Поэтому-то лесные духи⁹⁹ и мертвецы (в дальнейшем развитии смерть¹⁰⁰ и смертельные болезни¹⁰¹) представляются в виде Aufhocker'ов. Отсюда образ этот перенесен был на все, что мыслится неотвязчиво преследующим человека. Так, напр., забота, не дающая покоя человеку и отстающая от него, изображается у Горация в виде Aufhocker'a: *post equidem sedet atra Cura* [И позади всадника сидит мрачная Забота] (*Hor.* с. III, 1, 40; ср.: *curae sequaces* у *Lucret.* II, 48). Не иначе дело обстоит и относительно демона несчастья: это не исконная черта, а перенесенная; она изображает только одно его качество — неотвязчивость.

Главные мотивы нашего рассказа — поимка и освобождение демона — встречаются во многих сказках иного содержания. Что касается до поимки, то она в отдельных вариантах происходит различным способом; но для каждого способа имеются аналогии в других сказках.

Мы видели, что Unsaelde в немецком мейстерзанге,



Общий вид Верхнего города, на переднем плане — Бессарабский рынок, фото 1910-х из архива И. А. Зотикова



Памятник Государю Императору Александру II на Царской площади, ск. Э. Ксименес, 1911, фото 1910-х из архива А. Ю. Клековкина

Беда в польской сказке у Балинского, Злыдни в малорусских сказках попадают в плен благодаря ущемлению рук. Такой способ уловления практикуется в сказках особенно часто по отношению к лесным духам. По граубюнденской сказке к рубившему лес крестьянину подошла лесунка (fenggi); дровосек попросил ее помочь в его работе; а когда она засунула руки в щель расколотой наполовину колоды, он вышиб клин и ущемил ее¹⁰². То же самое рассказывается про Holzmueterli в двух других граубюнденских сказках¹⁰³. Так попадает в плен и финский лесной дух Пеллервойнен¹⁰⁴, и цыганский демон Zena¹⁰⁵. Аналогичным образом, но вне лесной обстановки, мужик ловит черта в жмудской сказке: он ущемляет ему руку дверью хлева¹⁰⁶.

В малорусских вариантах Злыдней засаживают в «боклаг»¹⁰⁷ или в бочку¹⁰⁸. Таким же образом в арабской сказке «про рыбака и духа»¹⁰⁹ (из сборника «1001 ночь») злой дух заключен в небольшой медный сосуд; а в немецкой сказке у Гриммов¹¹⁰ он заперт в бутылочке. В литературу этот мотив введен был Лесажем, который, как известно, изображает своего хромого черта Асмодея заключенным в склянку. Впрочем, французский писатель и эту подробность заимствовал у своего испанского оригинала, куда она, по мнению Dunlop'a, перешла из каббалистического сочинения Vinculum Spirituum¹¹¹.

Упомянутые злые духи попадают в столь малые сосуды благодаря своей способности сокращать свой объем до минимальных размеров. Этим умением они хвастаются и готовы при случае его показать¹¹². Это самое качество приписывается и демону несчастья. Горе, играя с хозяином своим в прятки, хвалится, что в какую угодно щель забиться может; по коварному предложению хозяина, оно забирается в тулку колеса, где тот его заколачивает дубовым клином¹¹³. Беда, явившись бедняку в момент его переезда на другое место жительства, просит взять и ее,

а чтобы занять как можно меньше места, делается тонкою, как иголка, и залезает в случайно попавшуюся кость, которую бедняк затем забивает колышком и бросает в реку¹¹⁴. Отчего Беда забирается именно в кость, лучше мотивировано в польской сказке у Глогера (см. выше), которая может считаться подлинником малорусской. Бедный брат, явившись на крестины к богатому, вместо угощения получает одну лишь кость. Грызая ее по дороге домой, он встречает Беду в виде голодной нищенки. Чтобы полакомиться мозгом кости, она, съезжившись, влезает в нее, а бедняк забрасывает ее в реку.

Последняя подробность тоже неслучайна: утопление демона несчастья повторяется во многих вариантах. В великорусской сказке у Эрленвейна мужик, засадив Нужду в кобылью голову, топит ее в болоте; в малорусской — Злыдней сталкивают в реку вместе с жерновом, которые они несут; в другой малорусской их запикивают в трясину и, загрузив то место, ставят кол; в Галицкой сказке боклаг, в котором заключены Злыдни, топят в «багнищі». По Vinculum spirituum, царь Соломон, засадив в склянку бесчисленное множество нечистых духов, бросил ее в колодезь. В литовской сказке отставной солдат заключает чертей в мешок и топит их в пруду. Потешная, приводя немецкое сказание, по которому домовые (?), во множестве засевшие в венике, вместе с последним были потоплены в пруду, видит в этом совпадении с русскими сказками про Нужду и Злыдней подтверждение своей теории о мифологическом тождестве Гора–Злыдней–Недоли с домовым¹¹⁵.

Возвращаясь еще к способности демона несчастья съезживаться до крайних пределов. В сказке у Манжуры (стр. 58) бедный брат, явившись к богатому брату на крестины, не только не получает никакого угощения, но более почетные гости, ради которых ему то и дело предла-

гают «посунуться» со своего места, еще пользуются его табаком, и дотла вынюхивают его рожок. На обратном пути за бедняком гоняются Злыдни и просят табачку понюхать. Заявлению, что богачи на пиру весь рожок опорожнили, они не верят, и желают сами убедиться, не осталась ли в нем хоть какая-нибудь порошина. «Влезайте и убедитесь», — предлагает бедняк. Как только Злыдни влезли, он заткнул рожок, и Злыдни оказались пойманными. Точно так происходит уловление смерти в сказке, почти одинаково передаваемой в великорусской и малорусской редакциях. Смерть засела на плечи отставному солдату. Неся ее на себе, солдат вздумал табачку понюхать, и вынул табакерку. Тут и смерти захотелось табачком побаловаться. «Лезь в табакерку и нюхай, сколько угодно», — приглашает солдат. Смерть и полезла, а хитрец защипнул табакерку. Сказка эта, из богатого содержания которой мы привели только один эпизод, представляет собою один из многочисленных изводов распространенного почти у всех европейских народов рассказа, древнейшим вариантом и, быть может, прототипом которого является древнегреческая сказка про хитрого Сизифа и уловление им смерти¹¹⁶. В изводе, пользующемся большой популярностью особенно в Германии («Der Schmid von Jueretbogk»), но восходящем, по-видимому, к итальянскому оригиналу, главным действующим лицом выступает кузнец: он засаживает смерть (или дьявола) в мешок, кладет его на наковальню и пускает в ход свой молот. Интересно, что в одном уэльском варианте вместо смерти или дьявола такой процедуре подвергается Несчастье¹¹⁷.

При всем разнообразии способов поимки, уловление посредством табакерки встречается только в русском изводе, причем тут остается необъясненным, отчего Смерть вся влезает в табакерку солдата. В сказке же о Злыднях,

о которой выше была речь, такой поступок со стороны этих демонических существ вполне удовлетворительно мотивирован желанием убедиться, не осталась ли в рожке хоть порошинка табаку, а отсутствие последнего поставлено в причинную связь с высокомерным отношением к бедняку брата и его гостей на крестинах. Избавление от Злыдней, таким образом, является как бы вознаграждением бедняка за перенесенную им обиду, что вполне в духе народной сказки, придерживающейся принципа «поэтической справедливости»¹¹⁸. Мы считаем поэтому возможным предположить, что мотив поимки посредством табакерки создан был для рассказа об уловлении демона несчастья и отсюда перешел в рассказ о солдате и смерти.

Табакерка выступает и в другом малорусском варианте о Злыднях, но готовность последних влезть в нее мотивируется несколько иначе: уже известным нам свойством демонов из похвальбы сокращать до минимума свой объем. «Ми можемо скрізь поміститися», — хвалятся Злыдни. «А тут, у ріжку, поміститесь?», — спрашивает мужик, открыв свою табакерку. «Помістимось», — отозвались они, и сейчас же из табакерки раздался голос: «Ось ми вже усі в ріжку»... Этот мотив похвальбы, отмеченный нами уже выше, также повторяется в сказке про солдата и смерть. Солдат спрашивает чертей (замещающих в данном эпизоде смерть): «Много ли вас войдет ко мне в мешок?» — «Все войдем». — «Ну-ка, посмотрю, правду ли вы говорите». Черти все до одного забрались в мешок¹¹⁹... По другому варианту, солдат заспорил со смертью: «ты-де не влезешь в пустой орех!» Та сдуру и влезла, а солдат заткнул дыру в орехе¹²⁰.

Второй главный мотив рассказа о Горе — освобождение заключенного демона третьим лицом — также имеет многочисленные параллели в других сказках. В варианте сказки «про солдата и смерть», сообщенном Афа-

насевым (II, стр. 209), бабы из любопытства открывают ранец, куда солдат засадил чертей, и они, вырвавшись на волю, убегают. Обыкновенно, однако, освобождение имеет роковые последствия для освободителя. В мало-русской сказке царевич вытаскивает из болота посаженную туда смерть; получив волю, она тотчас же замахнулась на своего спасителя, и царевич в ту же минуту пал бездыханный¹²¹. В арабской сказке «про рыбака и духа», в немецкой сказке «про духа в склянке» и в других освободитель только благодаря хитрости спасается от немедленного нападения со стороны освобожденного демона.

Любопытно, что этот мотив рокового освобождения приурочен именно к демону *несчастья* в одном рассказе Боккаччо. Этот рассказ встречается в сочинении «De casibus virorum illustrium» [«О злоключениях именитых мужей»], и сам автор называет его «Lepida fabella et anti-quissima». Бедность, победив Фортуны в единоборстве, принуждает ее навсегда отказаться от своей власти над дурным счастьем (*infortunium*), оставляя за нею только власть над добрым счастьем (*fortunium*). Демона несчастья приковывают цепями к столбу на виду у всех. Кто из людей пожелает, может освободить его, себе самому на беду¹²². Этот рассказ Боккаччо рано получил широкую известность и по сю сторону Альп: еще в XVI в. его обрабатывали, напр., чешский поэт Николай Ковач и немецкий мейстерзингер Ганс Сакс.

VII

Как видно из предыдущего изложения, рассказ «о пойманном и вновь освобожденном Горе» по материальному содержанию своему не оригинален, а состоит почти весь из мотивов заимствованных: неотвязчивость демона несчастья характеризуется чертами, взятыми

от образа Aufhocker'a; его поимка либо по схеме уловления лесных духов, либо по типу заключения злого гения в сосуде; применительно к последнему сказанию представлено также освобождение. Знаменательно различие в изображении поимки: оно доказывает, что последняя не имела определенной формы в первоначальной концепции рассказа. Можно даже предполагать, что мотив уловления и, конечно, также и мотив освобождения в ней совершенно отсутствовали. На такую мысль наводит то обстоятельство, что древнейшая обработка нашего сюжета, стихотворенье Рейнмара, относящееся еще к XIII в., этих мотивов вовсе не знает. Правда, у Рейнмара рассказ вообще сильно сокращен — до того сокращен, что лишился своей соли: мысль, что несчастье неотвязно преследует иного человека, до того бесцветна и банальна, что едва ли могла лежать в основании первоначальной концепции. Вся суть, весь смысл рассказа о Горе, — то, что составляет оригинальный и самобытный его элемент, заключается в мотиве благодарности демона своему благотворителю, — благодарности для последнего столь же роковой, сколь неожиданной. Заявление Горя: «тот — лихой человек, чуть не уморил меня, а ты — добрый, от тебя я не отстану» является в данной связи язвительным сарказмом и придает рассказу чисто эпиграмматическую силу: оно представляет собою то «объяснение» (*Aufschluss*), которое, по теории Лессинга об эпиграмме, должно отвечать возбужденному всем предыдущим «ожиданию» (*Erwartung*).

Этот мотив роковой благодарности Горя существовал уже в древности. Сохранился отрывок из философского сочинения Сотиона, имеющий следующее содержание: «Рассказывают ливийскую басню о том, что Горе охотно остается и растет у тех, кто его питает»¹²³. Сотион, один из проповедников практической морали, столь многочисленных и популярных в I веке по Р. Х., увещевал

своих слушателей или читателей не поддаваться чувству печали, не «питать» (или «кормить») его, как выражаются по-гречески. Кто вместо того, чтобы с напряжением всех сил побороть в себе это чувство, ему поддается, тот окончательно подпадает под его власть. Для иллюстрации своей мысли Сотион ссылается на «ливийскую басню», в которой изображалось, как *Lufe*, т. е. «Горе» или «Печаль», предпочла «остаться» у своего кормильца. Интересно и важно, что это изображалось в «ливийской басне». О том, что представлял собою этот вид греческой народной словесности, необходимо сказать несколько слов.

Наше предание о ливийских баснях, к сожалению, весьма скудно. Аристотель сопоставляет их с Эзоповыми баснями (Aristot. *Rhet.* II, 20), и образчик их, сохранившийся в отрывке из одной недошедшей до нас трагедии Эсхила, вполне подтверждает сходство тех и других. Этот образчик — история об орле, смертельно раненом стрелою охотника; узнав на смертоносном снаряде свои собственные перья, орел восклицает: «это не другие меня одолели, а собственные мои перья» (Aeschyl., frg. 139 N). Как видно, мы тут имеем сжатый рассказец, вся суть и сила которого заключается в том «объяснении», которое дается в самом конце. Такое *эпиграмматическое* построение, как известно, характерно и для т. наз. *logoi Aisopoi*¹²⁴. — Действующим лицом в нашем рассказе, рядом с человеком, выступает животное (орел), и это обстоятельство сближает его с «животной» сказкой, давшей главное содержание «Эзоповым басням», — главное, но не исключительное, так как в них, как известно, кроме животных, выводятся и люди во взаимных повседневных своих отношениях, а также аллегии, олицетворенные предметы и чудовища «волшебной» сказки. То же самое мы видим и в «ливийских баснях». В одной из них, воспроизведенной современником Сотиона, философом-мо-

ралистом Дионом Хрисостомом¹²⁵, выступает столь излюбленная народной сказкою всех времен фигура полудевы-полузмеи¹²⁶.

Можно думать, что такие фантастические фигуры сказочного происхождения даже преобладали в «ливийских баснях». На это, по-видимому, указывает самое их название. Дело в том, что Ливия — страна чудес и чудовищ. Таковую она слыла у малоазиатских ионийцев, тех самых, что сыграли столь выдающуюся роль в создании и распространении всех видов народно-повествовательной поэзии — аполога, сказки, повестенки. Расположенная за тридевять земель, за синими морями, на самом краю света, на берегу всеомывающего Океана, Ливия рисовалась воображению ионийских греков каким-то волшебным царством, каким-то сказочным лукоморьем. Сюда перенесены были всевозможные чудовища и фантастические фигуры сказочного мира, и перенятые у Востока, и созданные воображением юного эллинского народа, — карлики и великаны, земной рай, злые ведьмы и доброжелательные старухи-ведуньи, песиголовцы и безголовые¹²⁷.

Вместо того чтобы говорить «в тридевятую государствену» или «у лукоморья», иониец VI в., рассказывая сказку, говорил: «в Ливии». Басни, в которых выступали сказочные фигуры, приуроченные к Ливии, поэтому назывались «ливийскими»¹²⁸. Можно думать, что и олицетворенная *Lufe* вместе с другими чудовищами предполагалась живущей в Ливии. Но как бы то ни было, самая принадлежность к ливийским басням рассказа о *Lufe* свидетельствует о его фантастичном и в то же время простонародном характере и сближает его с современными сказками.

К сожалению, наш единственный источник, Сотион, выражается так кратко, что не представляется возможным восстановить с достоверностью содержание этой любопытной «ливийской басни» во всех ее чертах. По его

свидетельству, *Lupe* предпочитает *остаться* у своего благодетеля: стало быть, ей предлагали перейти к другому лицу, — как в современной сказке освободивший Горе предлагает ему идти к бывшему горемыке, а оно предпочитает остаться у своего освободителя. Но благодеяние, оказанное *Lupe*, состояло *не* в ее освобождении — так приходится заключить, если придерживаться слов Сотииона. *Lupe* предпочитает оставаться у того, кто ее «кормит», *par'ois an trepbetai*. Это выражение как бы исключает мотив освобождения; а если не было освобождения, то, конечно, не было и уловления¹²⁹. Мы видели, что этих самых мотивов нет также и в средневековой версии — в стихотворении Рейнмара; а в варианте современной сказки они изображаются различным образом, притом чертами, заимствованными из других произведений, — что и дало нам повод признать мотивы уловления и освобождения непервичным элементом сказки о Горе. Отсутствие их в ливийской басне поэтому не может являться препятствием для ее сближения с современной сказкою. Сходство обеих заключается, конечно, прежде всего, в самом олицетворении Гора, а затем — в мотиве роковой благодарности последнего.

Форма античной версии рассказа, даже поскольку она может быть восстановлена по словам Сотииона, позволяет сделать некоторые предположения относительно происхождения основного мотива сказки. «Горе *остаётся* у своего благодетеля», — что значит этот образ и как мог он возникнуть? Если под Горем понимать внешнюю силу, «несчастье», тот тут никакого смысла нет. Но образ этот имеет глубокий смысл, если «Горе» понимать в субъективном значении, в значении «печаль». Это значение еще ясно выступает в ливийской басне. *Lupe* охотно остается у того, кто ее «кормит» или «питает». Этот образ объясняется тем, что в греческом языке глагол *trephein*

часто употребляется в переносном значении, — в применении к отвлеченным понятиям, особенно в применении к понятиям, выражающим аффекты. Говорится, напр., кормить (питать) страх, надежду, зависть (*phobon, elpida, selon trephein*) и т. д.¹³⁰. Так, говорилось и «кормить печаль», *luypen trephein*, в смысле «поддается чувству печали». В этом метафорическом выражении содержится, на наш взгляд, зародыш сказки о Горе. Стоило только поэтически одаренному уму отчетливее представить себе образ, обыкновенно смутно сознаваемый, и несколько его развить. Человек кормит горе. Естественно, что горе чувствует привязанность к своему кормильцу. В чем последняя может проявляться? В том, конечно, что горе не желает покинуть своего благодетеля, даже когда ему предлагают перейти к другому человеку. Для хозяина Гора привязанность последнего не только неприятна, но доводит его до гибели. Отсюда получается момент иронии и даже сарказма, составляющий наиболее характерную черту, можно сказать, всю суть рассказа. — Дальнейшее развитие этой простой и ясной по своему происхождению концепции, лежащей в основе «ливийской басни», произошло, по-видимому, в силу того обстоятельства, что первоначальная «Печаль» (в смысле субъективного чувства) заменена была «Несчастьем» (в смысле внешней, объективной силы). Этот переход мог совершиться еще на почве греческого языка: слово *lupe* = «печаль» со временем получает и объективное значение «беда», «несчастье»¹³¹.

Несчастье как внешнюю силу олицетворяют собою Unsaelde и Ungeluecke, Беда, Злыдни, Нужда, Горе. Последнее название демона несчастья вполне соответствует греческому *Lupe*, так как ведь и горе собственно обозначает субъективное ощущение. Еще явственнее субъективное значение выступает в названии «Кручина», под которым выводится демон несчастья в сказке № 114 b

у Афанасьева¹³². Что русская сказка в этом отношении ближе стоит к древнегреческой, чем западная, не покажется удивительным тому, кто занимался сравнительным изучением древнегреческого и славянского фольклора¹³³.

Несчастье, понимаемое как внешняя сила, представляется воображению как бы преследующим свою жертву¹³⁴. Поэтому-то на него перенесен был образ *Aufhocker's*, — демона, вскакивающего на плечи человеку. — Переход субъективного Гoria в объективное Несчастье сделало далее возможным внесение в рассказ «о благодарном Горе» мотивов уловления и освобождения демона. — Когда именно произошло это расширение первоначальной схемы рассказа, мы не знаем. По-видимому, «очень древняя сказка», обработанная Боккаччо, уже предполагает существование рассказа об уловлении и освобождении демона несчастья.

Таким образом, детальный анализ сказки «о Горе» привел нас к такому же результату, как и рассмотрение сказки «о двух Долях». Сказка «о Горе» не содержит ничего такого, что восходило бы к мифологическим представлениям и религиозным верованиям древних славян: в ней нет ничего мифологического и нет ничего специфически славянского. Ядро рассказа ведет свое начало из античной древности и, быть может, основано на метафорическом выражении, свойственном греческому языку.

Относительно последнего предположения и аналогичного, высказанного нами в конце IV главы, считаем нелишним оговориться. Может показаться, что мы, полагая зародыш рассмотренных рассказов в метафоре, примыкаем к известной теории Макса Мюллера о происхождении мифологии¹³⁵. В действительности мы сходимся с М. Мюллером только в том, что допускаем влияние лингвистических факторов на образование сказаний¹³⁶. Но мы не обобщаем этого явления и не признаем тут эво-

люционного процесса или биологического закона. Это — явление случайное, спорадическое, отнюдь не обязательное или повальное, к тому же вовсе не приуроченное к определенному фазису в развитии языка. На «болезнь» или порчу языка оно нисколько не похоже и к мифологии не имеет прямого отношения. Впрочем, под мифологией мы понимаем нечто совершенно иное, чем М. Мюллер и его последователи.

VIII

Наша тема исчерпана. Мы задались целью представить анализ *сказок*, в которых выступают образы Доля и Гoria, и, насколько могли, исполнили эту задачу. Добытые нами результаты значительно расходятся с выводами, сделанными Потебнею и Веселовским из того же материала. Но Потебня и Веселовский, кроме сказок, пользуются еще народными песнями и старинной повестью о Горе-Злосчастьи. Рассмотрение этого материала не входит в нашу задачу. Но мы считаем нелишним сделать несколько беглых замечаний относительно того, как представляется изображение Доли и Гoria в песнях и повести на основании тех результатов, до которых мы дошли.

Есть целый ряд великорусских народных песен, в которых выступает Горе. Оно является тут, как и в великорусских сказках, не в смысле личного чувства, а в значении объективного несчастья. Выдвигается та мысль, что человеку невозможно уйти от несчастья, — Горе неотступно преследует избранную жертву. Эта идея играет известную роль и в сказках; она там выражается в том, что Горе изображено в виде демона, которого человек несет на собственных плечах. В песнях мотив преследования является господствующим, заслоняя собою все остальные. Преследование это изображается подробно

и обстоятельно, в поэтически-прекрасных образах. Раз привязавшись к человеку, при самом ли его рождении или при ином случае, злой демон уже не оставляет своей жертвы. Человек уходит в лес, прячется в поле или на лугу, бросается в реку, — демон всюду его отыскивает:

Я пойду с Горя во чисты поля —
Горе вслед идет, само говорит:
«Я поля приживу, тебя доступлю».
Я пойду с Горя в зелены луга —
Горе вслед идет, само говорит:
«Я луга скошу, тебя доступлю!» и т. д.¹³⁷.

Бегство и преследование изображаются под видом сменяющихся превращений убегающего и преследующего. Чтобы избежать или настичь друг друга, они оборачиваются зверями, птицами, рыбами:

Я от Горя во чисто поле —
И тут Горе сизым голубем.
.....
Я от Горя во темны леса —
И тут Горе соловьем летит.
.....
Я от Горя на сине море —
И тут Горе серой утицей (№ 447).

Молодец ведь от Горя во чисто поле,
Во чисто поле серым заюшком,
А за ним Горе вслед идет,
Вслед идет, тенета несет.
.....
Молодец ведь от Горя во быстру реку,
Во быстру реку рыбой-щукою,
А за ним Горе вслед идет,
Вслед идет, невода несет (№ 441).

Молодец-то со Горюшка да на сине море —
Еще Горе вслед да гоголем плывет,
И гоголем плывет да выговаривает:
«И ты постой-ка-сь, не ушел да добрый молодец!
И не на час я к тебе Горе привязался!» (№ 440).

Костомаров и Потебня видели в этом изображении бегства и преследования доказательство необычайной древности образа Горя и подтверждение его мифологического характера: он-де возник еще в ту отдаленную пору, когда люди верили в возможность превращения человека в зверей, а богов представляли себе в виде животных. Но мнимый «первобытный зооморфизм» тут не причем. Эти превращения — чисто поэтическая формула, свободно переходящая от одного сюжета к другому. Она часто встречается уже в древнегреческой народной поэзии, а также в западноевропейских народных песнях и сказках.

Мотив превращений соединен с мотивом Aufhocker'a в северорусских причитаниях (в них демон несчастья называется «Зло-Бесчестие»):

Впереди да село Бесчастье ясным соколом,
Позади оно летело черным вороном.
.....
Кругом около злодийно ухватилось
За могучие оно за мои плечушки¹³⁸.

Рядом с этими традиционными фантастическими мотивами встречаются и более индивидуальные черты, взятые из реальной жизни. Девушка думает укрыться от Горя, вышедши замуж, но Горе идет за ней «малыми детками»; она «от Горя в постелюшку легла», а Горе «в головах сидит». Добрый молодец тщетно ищет убежища в веселом обществе.

А я от Горя в почестный пир —
А Горе зашел, впереди сидит;
А я от Горя на царев кабак —

А Горе встречает, уже пиво тащит (№ 446).

Вообще изображение Гора в великорусских песнях отличается высокой художественностью и поэтической силой. Некоторые черты в нем поражают своей отчетливостью и жизненностью. Горе выводится под видом полуголого, испитого бедняка-оборванца, еле прикрывающего наготу свою самым дешевым суррогатом одежды:

В лантишечки Горе пообулося,
В рогозиночки Горе понаделоса,
Понаделоса, тонкой лычинкой подпоясалось (№ 441).

А и лыком Горе подпоясалось,
Мочалами ноги изопутаны (№ 446).

Ой ты, Горе мое, Горе, Горе серое,
Лычком связанное, подпоясанное (№ 443).

Все это — черты, взятые несомненно из реальной действительности, из современной поэту жизни бедняков.

Неизвестно, откуда Горе берется; его происхождение столь же таинственно, как происхождение реки из недр земли:

Отчего ты, Горе, зародилось?
Зародилось Горе от сырой земли,
Из-под камешка из-под серого,
Из-под кустышка с-под ракового (№ 441).

Оно нападает на человека неожиданно, при разных случаях. К иному Зло-Бесчастье пробирается при самом его рождении. К молодой женщине Горе пристаёт на другой день после свадьбы:

В воскресенье матушка замуж отдала,
К понедельнику Горе привязалось (№ 442).

Прекрасно изображается злорадство Гора, когда ему удалось свою жертву загнать в могилу:

Я от Гора в сыру землю пошла,

За мной Горе с лопатой идет.

Стоит Горе, выхвывается:

«Вогнало, вогнало я девицу в сыру землю!» (№ 444).

«Уж ты мой, не ушел, добрый молодец!»

Загребло Горе в могилушку,

В могилушку, в матушку сыру землю (№ 441).

Мотив заключения и освобождения демона несчастья — или, по крайней мере, отзвук этого мотива — мы находим в северных причитаниях.

Мне спустить ли то Обиду в быстру реку?

Загрузить ли мне Обиду в озерышке? —

спрашивает плачущая вдова¹³⁹. Это загрузение напоминает собою знакомое нам утопление Беды, Злыдней и т. д. (ср. выше). В другой заплачке «злое Горюшко» сидит заключенное в «подземельных норах», и его освобождают рыбаки, неводом вытащившие из моря золотые ключи от этого подземелья.

Из изложенного видно — и это заслуживает особого внимания, — что Горе и т. д. великорусских песен всегда является стихийной силой, стоящей вне человека: оно преследует человека, приставши к нему при том или ином случае. Никогда оно не представлено прирожденной человеку личной Долей. Взгляд Костомарова, Потебни и Веселовского, отождествляющих Горе с Долей-Недолой, находит себе в великорусских песнях столь же мало поддержки, как и в рассмотренных нами сказках.

Зато в малорусских песнях действительно встречается смешение личной Доли и демона несчастья. Личная Доля играет в них значительную роль. Несчастливцев жалуется, что его Доля не такая, как Доля других. Те ничего не делают и богато живут; а он, несмотря на все свои труды, ничего не имеет:

Доле ж моя, Доле, чом ти не такая,

Чом ти не така, як Доля друга?
 Що чужі люди нічого не роблють,
 Нічого не роблють та й хороше ходять;
 А я заробляю — й світки не маю!
 Що люде гуляють і роскоші мають;
 А я заробляю — нічого не маю!¹⁴⁰

Доля горемыки находится где-то далеко; в безвестной отлучке, и нисколько о нем не заботится:

Де ти ходиш, моя Доле? Не докличешся до тебе!¹⁴¹

Ой, десь моя лиха Доля шляхом волочиться.
 Годі, годі, лиха Доле, шляхом волочитися!¹⁴²

Де ж ти, Доле, була, що мене забула?
 Чи ти, Доле, в лісі забарилась?
 Чи ти, Доле, в полі опізнилась?¹⁴³

Оказывается, что Доля несчастного

На риночку була, горілочку пила.

Счастливу, напротив, его Доля *служит*:

Ой, я б, мамо, не тужила, я б Бога молила,
 Щоб моему миленькому Дольнюк служила!¹⁴⁴

Ой хвортуно-хуртовино!
 Послужи нам хоч ще трохи!¹⁴⁵

Все эти образы нам хорошо известны по сказке «о двух Долях», и едва ли возможно сомневаться, что они оттуда перешли в песню.

Совершенно иное представлении лежит в основании, напр., следующей песни:

Йшов козак дорогою,
 За козаком біда в'ється,

или следующей:

Ой, піду я, піду, зі свого села попід лісом горою,
 А оглянуся — йде Біда за мною.

Это — демон несчастья, преследующий намеченную жертву, как в великорусских песнях и в сказке «о Горе». От него не отделаться. Дивчина, желая сбыть Беду, повела ее на ярмарку, чтобы там продать¹⁴⁶. Но Беда заявляет:

Я ж із тебе не відчеплюся, доки будеш жива.

Дивчина молит демона отстать от нее, но он отвечает отказом:

Ой, вернись, Бідо! Чого ти вчепилась!
 Не вернусь, дівчино, я з тобою вродилась.
 Ой, вернись, Бідо! Чого ти ввязалась!
 Не вернусь, дівчино, я з тобою вінчалась.

Встречающееся здесь представление, что злой гений к иным своим жертвам привязался при самом их рождении, облегчило смешение демона несчастья с прирожденной личной Долей — в тех, конечно, случаях, где последняя беспечно или враждебно относится к вверенному ее попечению человеку. Действительно, «лихая» или «гірка Доля» является как бы новым названием демона несчастья: оба образа сливаются, и что свойственно одному, переносится на другое.

К прирожденной личной Доле отнесен мотив неотвязного преследования:

Породила мене мати у святу неділю,
 Дала мені лиху Долю — де ж її покину?
 «Та піди, Доле, піди, нещасна, в полі загубися,
 А за мною, молодого, та й не волочися!»

Дивчина далее предлагает лихой Доле заблудиться в лесу, «присвятиться» в церкви, утопится в воде. Но Доля отвечает, что везде отыщет свою жертву и снова в нее «вчепиться».

Особенно часто говорится об утоплении лихой Доли:

Ой, піди, нещасна Доле, в морі утопись!

Лиха Доле, лиха Доле, піди, утопись,

А за мною, молодую, та й не волочися!

Піди собі в тихий Дунай, с жалю утопись.

Эта столь настойчиво повторяемая черта, по-видимому, восходит уже не к мотиву преследования, а к мотиву утопления злого демона.

Но эта самая черта со временем была перенесена на Долю — подательницу счастья. Поэтому то, что в одном случае является предметом желаний, в другом составляет причину горькой жалобы:

Ой, бодай ти, моя Доле, на дні моря утонула.

Потопає моя Доля край синього моря.

Моя Доля утонула, щастя се не верне.

Ой, Доля моя, Доля! Де ти, Доля, поділася?

Да чи ти в огні згоріла, чи ти в лузі втопилася?¹⁴⁷

Де Доля ділася?

Ой, чи в огні згоріла, чи в Дунаї утонула.

Есть и противоположное явление: мотивы сказки «о двух Долях» в песне перенесены на демона несчастья.

Беда преследует козака,

Та під калиною

Та під червоною

Вона спатаньки кладеться.

Ой, ляж, Бідо, спати,

Ой, я піду, молод,

Щастя, доленьки шукати.

Образ демона-преследователя превращается в образ Доли, спящей под кустом, — причудливое сплетение мотивов разного происхождения.

Ввиду столь явного синкретизма, доходящего до логических противоречий, малорусские песни не могут служить

доказательством исконного тождества образов Доли и Горя.

Остается сказать два слова о фигуре Горя в повести о Горе-Злосчастьи. Она послужила для нас исходной точкой, и ею мы закончим свой очерк. Не может подлежать сомнению, что образ Горя взят составителем повести из великорусской народной песни. Как в песне, так и в повести выдвинут момент неотвязчивого преследования. Оно изображается тем же приемом сменяющихся превращений.

Полетел молодец ясным соколом,

А Горе за ним белым кречетом.

Молодец полетел сизым голубем,

А Горе за ним серым ястребом.

Молодец пошел в поле серым волком,

А Горе за ним с борзыми выжлецы.

Молодец стал в поле ковыль-трава,

А Горе пришло с косою вострою.

Пошел молодец в море рыбою,

А Горе за ним с частыми неводами¹⁴⁸.

Почти дословно повторяется похвальба демона:

Ты стой, не ушел, добрый молодец!

Не на час я к тебе, Горе злосчастное, привязалось (356–358).

Внешний вид Горя описывается совершенно одинаково:

Босо, наго, нет на Горе ни ниточки,

Еще лычком Горе подпоясано (290–291).

Зависимость повести от народной песни подтверждается еще следующими двумя обстоятельствами.

Горе начинает преследование своей жертвы, выскочив у быстры реки из-за камня (289).

Такое появление Горя, ничем не мотивированное и тем более странное, что демон уже раньше являлся молодцу, очевидно объясняется влиянием песни: автор повести помнил прекрасное место о зарождении Горя,

которое в песне по таинственности своего появления уподобляется реке, и происхождение которого поэтому в ней описывается поэтической формулой, обычной при описании речных истоков.

Далее в повести ничем не мотивировано, что молодец — еще до появления Горя — попадает «на велик пир почестен» (133), после того как, пропивши свое добро, босой и нагой, очутился на чужой стороне. В песне — вполне логично: молодец уходит от Горя сперва «на почестный пир», ища спасения в многолюдном собрании, а затем уже идет «на царев кабак».

Но, заимствовав образ Горя из народной песни, составитель повести внес в него посторонние, чуждые песне черты. Он имел в виду цели назидательные. Поэтому преследование Горя ставится в причинную связь с прегрешением молодца: оно является наказанием за то, что молодец не послушался наставлений родителей своих:

Кто родителей своих на добро учения не слушает,
Того выучу я, Горе злосчастное (304).

Вполне естественно, что в силу назидательной тенденции автора, демон народной песни принял облик христианского врага-искусителя. Он соблазняет молодца на грех (234–262), чтобы завладеть им. Но когда впадший в прегрешение отказывается от тщеты сего мира и обращается в святую обитель, он находит спасение от преследований Горя. Вместо того чтобы загнать свою жертву «в могилушку, в матушку сыру землю»,

Горе у святых ворот остается,
К молодцу вперед не привяжется (390–392).

С этой точки зрения поэтому уже не так неправ Буслаев, писавший: «Горе повести не что иное, как верное отражение нечистого, темного состояния духа самого героя; борьба его с Горем есть борьба с самим собою, увенчанная победою над самим собою»¹⁴⁹.

Отождествлению Горя с христианским дьяволом способствовало еще следующее обстоятельство.

«Я от Горя на царев кабак», — говорит молодец в песне. Это выражение могло быть понято в том смысле, что горе прельстило молодца предаться пьянству. Вино же от дьявола — так учили представители известного течения в средневековом христианстве, так верует благочестивый народ до сих пор¹⁵⁰. Соблазнение к пьянству служит врагу рода человеческого вернейшим средством для того, чтобы овладеть намеченной жертвой. И Горе повести свою неотвязчивость, унаследованную у песни и сказки, проявляет по отношению к тем, кого ему удалось соблазнить «на питье кабацкое»:

Батогом меня не выгонит,
А гнездо мое и вотчина во бражниках (233).

Соединение черт, взятых из народной поэзии, и черт церковно-библейских придает образу Горя в повести характер смешанный, двойственный¹⁵¹. Благодаря этому обстоятельству, противоположные друг другу мнения Буслаева и Костомарова оказываются отчасти верными. Первый из них утверждал, что «Горе повести — демоническое существо, взятое напрокат из средневековой демонологии», «порождение именно той позднейшей демонологии, которую с особенным усердием украшали свои повествования русские писатели XVII в.»¹⁵². Костомаров же настаивал, правда, с целью доказать «мифологический» характер олицетворенного Горя, на том, что этот образ создан был народным творчеством задолго до составления повести. «Сложным» признает образ Горя в повести и Веселовский¹⁵³. Тем не менее, он вводит его в свою систему генетического развития «понятия судьбы» и усматривает в нем «христианское понимание идеи доли или, скорее, недоли», иначе — «представление», в котором «идея прирожденной судьбы сплотилась с иде-

ей личной вменяемости, заслуженности»¹⁵⁴. Нам кажется необходимым подчеркнуть, что идея личной вменяемости прибавилась к образу Горя не в силу естественной эволюции или генетического закона, а вследствие произвольного акта составителя повести, соединившего — не особенно *умело*¹⁵⁵ — фигуру народной песни с христианским демоном-искусителем. Едва ли тут может быть речь о «росте мысли, везде более [или] менее прошедшей по тем же стезям»¹⁵⁶.

Но интересным и важным для правильного понимания характера народной поэзии является то обстоятельство, что произвольный акт автора повести оказал влияние на дальнейшее поэтическое творчество «народа». Есть великорусские песни, в которых имеется то же слияние образа Горя с христианским дьяволом. Они возникли под влиянием повести. Некоторые и по ходу изображаемого в них действия являются прямым сколком с нее¹⁵⁷. Другие отражают влияние повести только в частностях, сохранив самостоятельные элементы¹⁵⁸.

Воздействию повести подпала и сказка. Вариант сказа «о пойманном и вновь выпущенном Горе», помещенный у Афанасьева под № 171, в общем построен по обычной схеме (только в нем удвоены мотив обращения к брату и мотив уловления злого гения — как в мало-русских вариантах); но Горе представлено в нем демоническим бражником, соблазняющим хозяина пропивать в кабаке все свое добро до последней нитки. Мы видели, что эта черта, свойственная средневековому дьяволу, в образ Горя внесена была составителем повести.

* * *

Некоторые вопросы, затронутые в настоящей главе, требуют более обстоятельного исследования¹⁵⁹, чем мы могли уделить им в наших кратких замечаниях, являю-

щихся лишь прибавлением к рассмотрению сказочного материала. Но мы надеемся, что нам тем не менее удалось и тут добыть новые доводы в пользу основного нашего положения: прежде чем строить эволюционно-генетические системы и теории, необходимо произведения народного творчества, служащие для них материалом, подвергнуть критическому анализу и сравнительному изучению как со стороны всей их структуры, так и со стороны отдельных мотивов. Мы считаем тем более необходимым настаивать на этом требовании, что модное ныне «антропологическое» направление в изучении фольклора слишком им пренебрегает. Конечно, вместо того, чтобы путем кропотливых историко-филологических изысканий устанавливать филиацию сюжетов, гораздо заманчивее и удобнее провозгласить, что одни и те же мотивы возникают самостоятельно в разных местах Земного шара в силу «однородности человеческого духа», и развиваются одинаково по законам эволюции, якобы везде идущей по тем же стезям. Но это значит разрубить узел, а не распутать его.

Примечания

¹ *Современник*, 1856, кн. 3 (Март) = т. LVI, отд. 1, стр. 49–68 и кн. 10 (Октябрь) = т. LIX, отд. 1, стр. 113–124 (последняя статья была вызвана возражениями [Ф. И.] Буслаева). Обе статьи Костомарова повторены в *Памяти. старин. русс. лит.* графа Кушелева-Безбородко, вып. I.

[Здесь и далее форма примечаний оставлена такой, как ее счел необходимой А. И. Сонни: читатель, склонный к библиографическим изысканиям, не сможет не обнаружить в их подаче известной строгости и даже получит удовольствие. Задача привести библиографию, указываемую Адольфом Израилевичем, к современным нормам библиографического описания, не ставилась. Потому что sapienti sat. — А. П.]

² [Древняя русская словесность: Повесть о Горе-Злосчастии, как Горе-Злосчастие довело молодца во иноческий чин. Древнее стихотворение //]

Русский Вестник, 1856, т. IV, Июнь, кн. 2, стр. 5–52, и Июль, кн. 2, стр. 279–322 = *Историч. очерки русск. нар. словесн. и искусства*, т. 1, стр. 548–643.

³ «О Доле и родных с нею существах» = *Древности, Труды Моск. археол. общества*, т. 1 (1865–67), стр. 153–196.

⁴ Ор. cit., стр. 166. Сколь основательно отождествление Гора и Доли, покажет наше дальнейшее исследование; оно выяснит и предполагаемую туземность этих образов. Точно так же коснемся мы зооморфизма в другом месте, а пока скажем несколько слов о мнимой связи Доли и Гора «с другими мифическими существами». Такими существами, по Потебне, оказываются: домовый, душа, болезнь и лихорадка, смерть. Связь с домом выражается в том, что домовый живет за печью, а Горе или Беда в некоторых русских сказках тоже выходят из-за печки. Немецкого кобольша (т. е. домового) в одной сказке топят в пруде; Нужу или Злыдней в русских сказках также топят в болоте или реке (стр. 169). — Сходство Доли с душою состоит в том, что и первая, по некоторым верованиям, рождается вместе с человеком (стр. 173). — В некоторых сказках рассказывает, как хитрому человеку удастся заключить лихорадку в пузырь, или Мору (олицетворение болезни) в пустую бутылку, или смерть в табачный рожок; так и Горе запирается в сундук. Нужа — в корчагу, Злыдни — в бокал. — Есть сказки, в которых человек носит на плечах или возит олицетворения заразы, смерти; то же самое делается с Бедою, Нуждою. Из этих совпадений Потебня заключает, что «как болезни, так и женские образы доли имеют связь с богиней, которая из образа тучи стала олицетворением смерти» (стр. 185). Несостоятельность этого метода бросается в глаза. Не говоря о совершенно произвольном, кажущемся теперь даже курьезным, уравнивании «туча = смерть», не настаивая на принципиальном положении, что содержание сказок — свободный, поэтический вымысел: один тот вполне установленный, теперь общеизвестный факт, что отдельные сказочные мотивы свободно переходят из одного рассказа в другой, часто не имеющий с первым ничего общего, — достаточно опровергает всю аргументацию Потебни.

⁵ Афанасьев, *Поэтические воззрения славян*, гл. XXV (т. III, стр. 318 сл.; о Горе — стр. 397–403).

⁶ *Разыскания в области русского древнего стиха*, гл. XIII = Вып. V (Сборн. Отделения русск. яз. и словесн. Имп. Акад. наук, т. 46, 1890), стр. 173–260. Дополнения к этой статье в *Разысканиях*, гл. XXIII = Вып. VI (Сборник, т. 53, 1892), стр. 167–183.

⁷ Просор. *Bell. Got.* [*Война с готами*] III 14.

⁸ П 53 [*Они-то (Гесиод и Гомер) впервые и установили для эллинов родословную богов, дали имена и прозвища, разделили между ними почести и круг деятельности и описали их образы*] (пер. Г. А. Стратановско-го). Ср.: О. Gruppe, *Griech. Mytbol.*, p. 973; 987.

⁹ А. Н. Афанасьев, *Народные русские сказки*, изд. 3-е. Москва, 1887, т. II, стр. 235 сл.

¹⁰ *Материалы для изучения... Северо-Западного края*, т. II (= Сборник Отд. русск. яз. и словесн. Имп. Акад. наук, т. 57, 1893), стр. 157, под заглавием «Счастье и Горе».

¹¹ Е. Р. Романов, *Белорусский сборник*, вып. IV (Витебск, 1891), № 35, стр. 46.

¹² В малорусском варианте у П. В. Иванова, *Народные рассказы о Доле*, Сборник Харьковского истор.-филол. общ., т. IV (1892), стр. 82, № 7.

¹³ Иванов, Ор. cit., стр. 84, № 9.

¹⁴ Иванов, Ор. cit., стр. 82, № 7. В рассказе «Две Доли», переделанном А. И. Боровиковским из малорусской сказки (Отечеств. Зап., 1840, II, Смесь, стр. 42–44), наоборот, Доля счастливица «бледная, в нищенском рубище девка», денно и нощно трудящаяся за своего господина, а Доля неудачника — «разряженная барыня-белоручка», гуляющая в зеленой дубраве. Тут мы, по всей вероятности, имеем дело с произвольным изменением составителя рассказа.

¹⁵ П. П. Чубинский, *Малорусские сказки* (= Труды этнограф.-статист. экспедиции в западно-русский край, т. II, 1878), стр. 426, № 128. Иванов, Ор. cit., стр. 80, № 5; стр. 81, № 6; стр. 82, № 7; стр. 84, № 9; стр. 85, № 11. М. Драгоманов, *Малорусские народные предания и рассказы*, Киев, 1876, стр. 182, № 19.

¹⁶ Чубинский, Ор. cit., стр. 424, № 127. Здесь, однако, Доля счастливица слилась с Долей неудачника в один образ.

¹⁷ Афанасьев, *Сказки*, стр. 236, вариант.

- ¹⁸ Иванов, *Op. cit.*, стр. 84, № 9.
- ¹⁹ М. К. Васильев, *Этнограф. обозрен.*, т. XV (1892), стр. 165.
- ²⁰ Иванов, *Op. cit.*, стр. 82, № 8.
- ²¹ Иванов, *Op. cit.*, стр. 84, вариант к № 9.
- ²² Афанасьев, стр. 236.
- ²³ Иванов, стр. 80, № 5.
- ²⁴ Чубинский, *Op. cit.*, стр. 426, № 128; Иванов, стр. 81, № 6.
- ²⁵ Драгоманов, *Op. cit.*, стр. 182, № 19; Иванов, стр. 82, № 7.
- ²⁶ Иванов, стр. 85, № 11.
- ²⁷ Драгоманов, стр. 411, по Игнатию из Никлович[ей] (*Казки*, Львов, 1861, стр. 69).
- ²⁸ Иванов, стр. 85, № 11.
- ²⁹ Заметим кстати, что вместо «зооморфический» правильнее было бы говорить «териоморфический», так как *зоон* = «живое существо» (не исключая человека), *iberion* = «зверь».
- ³⁰ Иванов, стр. 82, № 8.
- ³¹ Иванов, стр. 85, № 11.
- ³² Иванов, стр. 84, № 10.
- ³³ Иванов, стр. 88, № 16.
- ³⁴ На вопросе о том, как объяснить различные звериные образы Доли, мы намеренно не останавливаемся: каждый случай требует отдельного рассмотрения, а это завело бы нас слишком далеко. Заметим однако, что в некоторых случаях можно констатировать влияние других сказочных мотивов. Так, напр. утка, по всей вероятности, взята из сказки про чудесную курицу (курицу, гусыню, утку), съевши которую, человек достигает высших почестей и несметных богатств (сказа эта, как мы ниже увидим, часто бывает соединена со сказкою о двух Долях). В других случаях териоморфизм Доли мог произойти оттого, что человек, знавший рассказ о двух Долях, соединил его с каким-нибудь сделанным им в действительной жизни наблюдением. При виде, напр. мыши, переносающей колос из скирды одного соседа в скирду другого, у такого человека могла явиться мысль, что эта мышь — Доля последнего. Что помимо всякой анимистической символики какому-нибудь зверю, случайно — внезапным ли появлением или необычным поведением — поразившему воображение

близкого к природе человека, последний может приписать таинственное значение в связи с какой-нибудь занимающей его ум идеей, доказывает сообщенный у Иванова (стр. 78) характерный рассказ одного малоросса. К остановившимся в степи на ночлег чумакам внезапно прилетела «якась-то птиця велика та чорна», и с криком закрутилась над одним из них. «От мій батько перехрестився та й каже: “що це, Боже мій... де вона взялась!.. це щось тобі буде, Охріме, це твоя Доля або Недоля, бо вона кой-коли ні ні, та й провела чоловіка. Бо я вже немало прожив на білому світі, багато чув, що люди гомонять, а дещо й сам бачив”».

³⁵ Афанасьев, № 171 и 172; Романов, IV, № 35; Иванов, стр. 82, № 8; Драгоманов, стр. 183.

³⁶ Иванов, стр. 81, № 6.

³⁷ Иванов, стр. 77, № 1.

³⁸ Иванов, стр. 80, № 5.

³⁹ Иванов, стр. 85, № 11; Чубинский, стр. 426, № 128 (сокращенная форма).

⁴⁰ Указания на литературу см. у Reinh. Koehler, *Kleine Schriften*, Bd I, S. 63, 440.

⁴¹ Иванов, стр. 84, № 9.

⁴² Reinh. Koehler, *Kleine Schriften*, Bd I, S. 409; F. v. d. Leyen, *Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen u. Literaturen*, Bd 116 (1906), S. 23 Anm. без всякого основания считает, что этот мотив — индийского происхождения.

⁴³ Чубинский, стр. 421, № 127 (из Радомишльского уезда Киевской губ.), И. И. Манжура, *Сказки, пословицы и т. д.* (Сборник Харьков. ист.-филол. общ., т. II, 1890), стр. 52–54 (из Харьков. губ.), Iosefa Moszynska, *Bajki i zagadki ludu ukraińskiego* (= Zbiór wiadomości do antropologii krajowej, y. IX, 1885), стр. 89 (из Галиции).

⁴⁴ Ср. у Веселовского, *Разыскания*, вып. VI (= Сборник Отд. Русск. яз. и слов., т. 53, 1892), стр. 179 слл. Лежащие в основе этого любопытного мотива воззрения г. Веселовский весьма удачно объясняет сравнением с верованиями и обычаями современных дикарей. Но сродные представления существовали также у древних народов, а самый мотив встречается и в античных мифах и сказаниях; см.: *Polites, Meletai peri tou bion kai tes gloss-*

es tou belenikou laou. Paradoseis (Athenai, 1904), стр. 1123–1135. — Оба мотива (о птице, несущей драгоценные яйца, и о приобретении чудесных свойств указанным странным путем) слились, впрочем, уже вне рассматриваемого выше сказочного комплекса; см. Афанасьева, № 114 и 115, и указываемую в примечании к последнему номеру литературу.

⁴⁵ Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып. X, отд. 3, стр. 49 сл. Ср. Веселовского, *Разыскания*, VI (Сборн., 53, 1892), стр. 182.

⁴⁶ В. Караджич, *Сербские сказки*, № 13.

⁴⁷ Богатейшую литературу по этому мотиву указывают Reinh. Koehler в *Archiv fuer slav. Philologie*, Bd V (1880), S. 74; Веселовский, *Разыскания*, вып. 5, стр. 166 и сл.; R. Koehler, *Aufsätze ueber Maerchen und Volkslieder* (Berlin, 1894), S. 115–116; E. Kuhn, *Byzant. Zeitschr.*, Bd IV (1895), S. 245 f. Мнение Куна, будто этот Fahrenmotiv буддийского происхождения, совершенно произвольно. — В Усуде сербской сказки Веселовский (Op. cit., стр. 225) склонен видеть самостоятельное развитие — «вне посторонних учений и влияний» — славянской идеи судьбы. Fr. S. Krauss, *Sreca. Gluck und Schicksal im Volksglauben der Suedslaven* (Wien, 1886), S. 107 f, предполагает, что эта фигура сложилась под восточными влияниями. В византийском стихотворении «*Logos parigoritikos peri Eutukbias kai Dustukbias*» (изд. Sp. Lambros, *Collection de romans grecs en langue vulgaire*, Paris, 1880, p. 289 sqq; ср.: R. Koehler, *Aufsätze*, S. 116) Усуду соответствует *Kbrnos*; это самое античное олицетворение времени дает ответы на предлагаемые прибывшим к нему человеком вопросы и в 38-й сказке Пентамерона Basile. Не является поэтому слишком рискованным предположение, что прототип Усуда — древнегреческий Хронос, отец неумолимой судьбы (Necessitas), по философско-поэтическим воззрениям позднейших орфиков.

⁴⁸ Ср. Веселовского, *Разыскания*, вып. 5, стр. 235. Чтобы славянские верования в «род» были независимы от античных, кажется нам мало правдоподобным.

⁴⁹ Эта черта повторяется и в других южно-славянских сказках, в которых среди иного рода повествований встречается отдаленный отзвук мотива о двух Долях. Так, в одной сербской сказке (Fr. S. Krauss, *Sreca*, S. 104) мимоходом упоминается, что Среча какого-то неудачника спит

за нем; а в одной боснийской сказке Среча богатого дяди ходит за его скотом, тогда как Среча бедного племянника спит за терновым кустом (Fr. S. Krauss, стр. 66).

⁵⁰ R. Koehler, *Aufsätze*, S. 100. В примечании указывается, что третьим изданием сборник Соммы вышел в 1821 году. Его составление поэтому, по всей вероятности, относится к XVIII или к началу XIX века.

⁵¹ R. Koehler, *Aufsätze*, S. 102. Андалузская сказка была обработана испанской писательницей Фернан Кабальеро. По обработке последней изложил содержание сказки F. Wolf (*Beitraege zur spanischen Volkspoesie aus der Werken Fernan Caballeros*, Sitzungsber. d. Wiener Akad., hist. phil. Klasse, Bd XXXI, 1859, S. 214). Им воспользовался Р. Кёлер.

⁵² Нет сомнения, что речь идет именно о Долях, т. е. существах, олицетворяющих личное счастье богача и бедняка. В немецком пересказе Вольфа это местами еще [более] ясно выступает; в некоторых местах, правда, как будто говорится о счастье и несчастье вообще. Самое заглавие, данное Кабальеро рассказу (*La Buena y la mala Fortuna*), в этом смысле неточно. Оно ввело в заблуждение Кёлера (стр. 104).

⁵³ Gellius, *Noct. Atticae*, I 19.

⁵⁴ R. Koehler, *Aufsätze*, S. 99. Дата 1499 [г.] взята нами из *Bibliographie Universelle s. v. Abstemius*. Кёлер указывает 1505 г.

⁵⁵ Веселовский, *Разыскания*, VI (= Сборник 53, 1892), стр. 177.

⁵⁶ Laura Gonzenbach, *Sicilische Maerchen* (Leipzig, 1864), № 21 (I, p. 130).

⁵⁷ Точно так же кладут требы новогреческим мирам; см.: Thumb, *Zur neugriechischen Volkskunde*, Zeitschr. d. Vereines f. Volkskunde, II (1892), S. 128. Небезынтересна повторяющаяся в южных изводах черта, что Доли живут на высоких горах. Так и новогреческие миры представляются обитающими на вершинах гор: Bernh. Schmidt, *Das Volksleben der Neugriechen* (1871), S. 211; Thumb, *Zur neugriechischen Volkskunde*, S. 126, 1. Едва ли позволительно видеть в этой черте воспоминание о горе Олимп, обиталище древнегреческих богов (Шмидт). Вершины гор являются тут скорее просто в смысле мест недоступных, безлюдных, пустынных, населенных одними духами (ср. отсылку болезней *eis oreon koruphas* в древнегреческом заклинании, *Нутт. Orph.* 36, 16). Вершины гор в сербских и русских сказках со-

ответствует, как мы видели, лесная чаща, имеющая тот же смысл.

⁵⁸ G. Pitre, *Faibe, novella, racconti*, № 86. La sfortuna (vol. II, 1874, p. 257 sqq). Ср. Веселовского, *Разыскания*, VI, стр. 176.

⁵⁹ Веселовский, *Разыскания*, V, стр. 258.

⁶⁰ Hahn, *Griech. u. alban. Maerchen* (Lpz, 1866), I, № 36.

⁶¹ *Logos paregoretikos peri Eutukbias kai Lustrukbias*, — Ср. Krumbacher, *Gesch. d. byzant. Literatur*, S. 811; E. Kuhn, *Byzant. Ztschr.*, IV, 247.

⁶² «Reise zum Schicksal», по терминологии Р. Кёлера.

⁶³ *Народные рассказы о Доле*. Сборник Харьковского историко-филологического общества, IV, 1892, стр. 54–89.

⁶⁴ Procop. *Bell. Got.* III 14.

⁶⁵ [Ф. Ф. Зелинский. *Рим и его религия*] // Вестник Европы, 1903, Январь, стр. 5–37; Февраль, стр. 441–485.

⁶⁶ См.: R. Peter у Roscher, *Lexicon der griech. u. roem. Mythol.* I, col. 1514–1515; 1523. Вообще ср.: G. Wissowa, *Religion u. Kultus der Roemer*, 1902 (= Handb. Iw. Mueller'a, V, 4), S. 206 ff.

⁶⁷ R. Peter у Roscher, *Lexicon der griech. u. roem. Mythol.* I, col. 1521–1523.

⁶⁸ R. Peter, col. 1522. G. Wissowa, *Religion u. Kultus der Roemer*, 311, n. 9.

⁶⁹ Как раз в 1906 г. Ю. А. Кулаковский совместно с А. И. Сонни выпустил в свет первую часть (первые шесть книг) перевода «Res gestae» («История») Аммиана Марцеллина. См. переиздание перевода всех 18 книг: *Аммиан Марцеллин*. Римская история / Пер. с лат. Ю. Кулаковского и А. Сонни. — СПб., 1994. — Прим. А. П.

⁷⁰ У немецких поэтов, начиная с XIII в., встречаются выражения вроде: *mein Saelde, dein Saelde, unser Saelde* (моя Доля, твоя Доля, наша Доля). Ср.: Grimm, *Deutsche Mythol.*, 1875, I, 354 и III (дополнения Э. Г. Мейера), 260. У современных греков древнегреческая общая Мойра иногда представляется как личная Доля отдельного человека; ср.: Thumb, *Zur neugriechischen Volkskunde*, Zeitschr. d. Vereines f. Volkskunde, II (1892), S. 125.

⁷¹ *Ammian Marc.* XIV 10, 16. *Fortunam eius in malis tantum civilibus vigilasse*. [А. И. Сонни цитирует это высказывание в собственном переводе, отличном от изданного им вместе с Ю. А. Кулаковским.]

⁷² Grimm, *Deutsche Mythol.*, 1875, II, 720 приводит из Отфрида выра-

жение «*sid wacheta... thiü Salida*». Там же и в дополнениях Э. Г. Мейера (III 260) указывается целый ряд подобных выражений (*Din Saelde wachet, sin Saelde slafe, mein Glueck schlaeft* [мое счастье дремлет]) у поэтов XIII и XIV веков, и у более поздних.

⁷³ Такой же приблизительно вопрос возникает относительно верования, записанного [М. П.] Драгомановым (*Малорусские народные предания*, стр. 184): «Кажуть, у кожного чоловіка є свій талан. У іншого такий талан невисипущий, робить, не спить жодної години. Як у кого такий талан, тому чоловікові й добре, бо як скоро талан робить, то чоловік спочиває. Ну, як талан засне, тоді чоловік сам без свого талану уже ради не дасть собі. Вже скоро талан спить, то чоловікові треба робити. І робить чоловік, нема йому користі... талан у нього спить» (здесь и далее цитируемые украинские тексты воспроизводятся в современной орфографии. — А. П.). Имеем ли мы тут дело с верованием, усвоенным независимо от сказки, или же верование возникло уже на почве Малороссии под влиянием перешедшей сюда сказки? Что римские представления повлияли на малорусские, обнаруживается, между прочим, в том, что Доля иногда мыслится как двойник (*genius*) человека. Иванов, стр. 66 и сл.

⁷⁴ Афанасьев, № 171, стр. 233 сл.; № 172, стр. 235 сл.; Эрленвейн, *Народные сказки* (Москва, 1863), № XXI, стр. 101. — Сказка, записанная Осокиным в Вятской губернии; см. у Афанасьева, стр. 237; И. И. Манжура. *Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатериносла. и Харьк. губ.* Харьков, 1890 (= Сборн. Харьк. ист.-филол. общ., т. II), стр. 60; Z. Gloger, *Skarbczyk* (см. ниже), p. 9 (Bieda); Ср.: Grimm, *Deutsche Mythol.*, II, S. 731–732.

⁷⁵ Чубинский (см. выше), №№ 110, 111, 112 (стр. 393–398), Манжура, стр. 58, Васильев. *Этногр. обозр.* XV, стр. 168, Ястребов (см. ниже), стр. 78, Драгоманов, стр. 413; Веселовский, *Разыскания*, вып. V, стр. 235.

⁷⁶ Максимович, *Три басни и одна побасенка*. Киев, 1845, стр. 35–44. Содержание сообщает Афанасьев в приложении к № 172.

⁷⁷ Игнатий з Ніклович[ів], *Казки*, Львів, 1861, стр. 69–72. Мы пользуемся перепечаткой у М. Драгоманова, *Малорусские народные предания*, Киев, 1876, стр. 410–413.

⁷⁸ Отечественные записки, 1840, II (= Февраль). Смесь, стр. 42–44 (см. выше).

⁷⁹ В. Н. Ястребов, *Материалы по этнографии Новороссийского края*, Одесса, 1894, стр. 78.

⁸⁰ К. Balinski, *Powiesci ludi*, стр. 72. Мы цитируем по перепечатке у К. Я. Эрбена, *Сто славянских народных сказок и повестей* (Citanka slovanska), Прага, 1865, стр. 122–125.

⁸¹ Этнограф. обзор., т. IV (1892), № 4 = кн. XV, стр. 168.

⁸² А. Эрленвейн, XXI, стр. 101.

⁸³ Т. II, № 171, стр. 233.

⁸⁴ Skarbzyk, *Basnie i powiesci ust ludi i ksiazek zebrał Zygmunt Gloger*, Издание 3-е. Warszawa, 1898, str. 9–14. Русский перевод этой сказки помещен в сборнике А. Соколова, *Славянские сказки*, СПб., 1893, ср. 108.

⁸⁵ Grimm, *Deutsche Mytbol.*, II, S. 731; R. Koehler, *Aufsätze ueber Maerchen und Volkslieder*, 1894, S. 108 f.

⁸⁶ Это маленькое стихотворение сполна перепечатано у Гримма, *Deutsche Mytbol.*, II, S. 732.

⁸⁷ В оригинале Сонни использовал украинизм: «кобылячью». — Прим. А. П.

⁸⁸ R. Koehler, *Aufsätze*, S. 109.

⁸⁹ Труды этногр.-статист. экспед. в западно-русский край. Т. II. *Малорусские сказки, собранные П. П. Чубинским*, 1878.

⁹⁰ Grimm, *D. Myt.*, S. 732.

⁹¹ Grimm, *D. Myt.*, S. 424.

⁹² Афанасьев, *Поэтич. воззрения славян*, II, стр. 67–69; Потебня, *О Доле*, стр. 168.

⁹³ *О Доле* и т. д., стр. 169.

⁹⁴ Чубинский, № 111 (Злыдни); вариант у Афанасьева, стр. 237 (Нужа); Игнат. з Никл., стр. 70 (публика); Эрбен, стр. 122 (Blada rapna = Bieda); Афанасьев, № 114, I, стр. 335 (Кручина).

⁹⁵ Манжура, стр. 60 (Беда является «на горищі»).

⁹⁶ Ср., напр., A. Wuttke, *Der deutsche Volksaberglauben*, §§ 761, 762, 771; Kuhn u. Schwartz, *Norddeutsche Sagen* etc. (1848), № 137 (S. 120); Veckenstedt, *Wendische Sagen* (1880), S. 327–331; Veckenstedt, *Die Mythen, Sagen u. Legenden der Zamaiten* (1883), I, S. 201, II, S. 121, 122. F. Liebrecht, *Jahrbuch f. roman. Literat.*, III (1861), S. 159 (в рецензии на Benfey, *Pantschatant-*

ra) и Goett. Gel. Anzeigen, 1867, S. 1723 (в рецензии на Comparetti, *Edipo*).

⁹⁷ L. Laistner, *Das Raetsel der Sphinx* (1889), особенно: I, S. X и 46 sqq.

⁹⁸ Ср. также: H. Roscher, *Epibiales* (Abh. d. saech. Ges. D. Wiss. 1900, XX Bd. Hft 2), S. 66 sqq. Не можем не напомнить, как художественно и фольклористически верно Гоголь в «Вие» изображает в виде полусознательного сновидения приключение философа с ведьмой, вскакивающей ему на плечи. [«Философ хотел оттолкнуть ее руками, но, к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались; и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце; он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги; но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минули они хутор и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам в себе: “Эге, да это ведьма”». — Прим. А. П.]

⁹⁹ «Waldfrau» у Veckenstedt'a, *Mythen...*, *der Zamaiten*, I, 201, II, 122. Вследствие этого сходство лесных духов и кошмара римляне смешивали фавнов и incubones [инкуб, ночное видение]: Faunorum in quiete ludibria (Plin. Hist. Nat., XXV, 29); quem... vulgo incubonem vocant, hunc Romani faunum dicunt (Isid. Etym., 8).

¹⁰⁰ «Смерть» в распространенной сказке про солдата и смерть: Рудченко, *Нар. южнорусские сказки*, II, № 42; Афанасьев, *Поэт. воззр. славян*, III, 50.

¹⁰¹ «Куга» (мор) в хорватской сказке (M. K. Valjavec, *Narodne pripovjedke*, 1858, стр. 243), «Powietrze» (зараза) в польской (Wojcicki, *Klechy*, I, 51). Ср.: Grimm, *Deutsche Myt.*, S. 966.; Потебня, *О Доле*, стр. 180 сл.

¹⁰² Vonbun, *Beitraege. z. d. Mytologie, gesammelt in Churraetirn*, S. 68.

¹⁰³ Jecklin, *Volksuemliches aus Graubuenden*, II, 127; III, 68.

¹⁰⁴ Koehler, *Kleine Schriften*, I, 294.

¹⁰⁵ Koehler, *Kleine Schriften*, I, 435.

¹⁰⁶ Veckenstedt, *Mythen...*, der Zamaiten, II, 69.

¹⁰⁷ Драгоманов, *Малорусские народные предания*, стр. 411.

¹⁰⁸ Чубинский, № 111, стр. 396.

¹⁰⁹ Dunlop-Liebrecht, *Gesch. d. Prosadichtungen* (Berlin, 1851), S. 186. = Dunlop, *History of prose fiction* (1888), vol. II, p. 476, n. 3.

¹¹⁰ Grimm, *Kinder und Hausmaerchen*, № 9: «Der Geist im Glas».

¹¹¹ Уже во время корректуры мы познакомились со статьей Н. Н. Дурново в *Новом сборнике статей по славяноведению* (в честь В. И. Ламанского), 1905, стр. 344–347. По Дурново, «легенда о заключении беса в сосуде перешла к христианам и магометанам от евреев, у которых входила в цикл сказаний о Соломоне». Она «хорошо была известна в византийской и переводной южнославянской литературе».

¹¹² Эта черта свойственна демонам также в сказании по Вергилия и духа (D. Comparetti, *Virgilio nel medio evo*, 1872, II, 94), в сказании про Парацельса и духа (Grimm, III, S. 179 sqq.), в бретанской легенде про демона чумы Dosj (Le Carguet, *Revue des traditions populaires*, 1891, № 9). Она встречается и в древнерусской «Повести о старце, просившем руки царской дочери»; см.: Дурново. Старец, освободивший беса из кувшина, заманивает его обратно, выразив сомнение в том, что бес может сделаться таким маленьким, чтобы влезть в кувшин. [Вспомним позднейшую сказку Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч» (1938 г.), где заглавный герой появляется из кувшина и совершает вместе со своим несовершеннолетним спасителем разные антиобщественные, но смешные проделки. — Прим. А. П.].

¹¹³ Афанасьев, *Сказки*, № 171 (II, стр. 235).

¹¹⁴ Манужра, стр. 60.

¹¹⁵ Потенция, *О Доле*, стр. 169 (немецкое сказание по: Wolf, *Beitr.* II, 335).

¹¹⁶ Огромный материал вариантов дают бр. Гримм в примечаниях к № 81 «Bruder Lustig» и № 82 «Der Spielhansel», III, S. 133–148; затем R. Koehler, *Aufsätze ueber Maerchen und Volkslieder*, S. 61 ff. и F. Bolte, там же, стр. 61, прим., и стр. 77. Ср. также: A. Rittershaus, *Die neuislaendischen Volksmaerchen* (1902), № XCIV и параллели на стр. 345–347. — Сказку про Сизифа передавал еще в VI в. до Р. Х. Ферекид (frg. 78 = schol. Iliad. VI, 153); на ее сходство со сказкой про Spielhansel впервые обратил внимание

Welcker в *Nachtrag zur Trilogie* (1826), S. 316.

¹¹⁷ R. Koehler, *Kleine Schriften zur Maerchenforschung*, I, 258 (из Compbell, *popular tales of the West Highland*, № 42). Кёлер заявляет, что этот мотив ему «sonsther nicht bekannt» [иначе неизвестен].

¹¹⁸ «Поэтическая справедливость» — термин английской эстетики XIX в., предполагающий суд истории над всяким ложным успехом, увлечением, зигзагом общественного развития, суд, восстанавливающий норму нравственности. А. Я. Рейнгардт, приготавливая к печати книгу мужа, Мих. Лифшица, «Идея эстетического воспитания в истории общественной мысли», озаглавила ее: «Поэтическая справедливость» ([М.], 1993). — Прим. А. П.

¹¹⁹ Елпид. Барсов, *Причитания*, II, стр. 297.

¹²⁰ Афанасьев, *Поэтич. возвр. славян*, III, стр. 50.

¹²¹ Рудченко, *Народн. южнорусск. сказки*, I, стр. 99.

¹²² R. Koehler, *Aufsätze ueber Maerchen und Volkslieder*, S. 111. Ср.: Беселовский, *Разыскания*, гл. XXIII = вып. VI, стр. 181–182.

¹²³ Stob. Floril. 108, 59 (IV, p. 41 Mein.).

¹²⁴ Из педантического подчеркивания и разъяснения этой органической части басни в позднейшее время произошла пресловутая «мораль», столь неорганически прилепчиваемая к басням. Впрочем, многие Эзоповы рассказы, хотя и имеют весьма остроумную pointe, лишены, однако, всякой нравоучительной тенденции, и вопрос quod haec fabula docet? [о чем же эта басня?] в применении к ним остается без ответа.

¹²⁵ Dio Chrysost. Or. V. Несмотря на заявление самого автора, некоторые ученые (Lobeck, Geel) почему-то утверждают, что история, сообщаемая Дионом, ничего общего с *logoi Libukoi* не имеет. Правда, Дион рассказу, взятому из общеизвестного *logos Libukos*, по своему обыкновению «привил» моральную тенденцию. Он сам вполне определенно высказывается о своем методе в ог. 5 § 1 и ог. 60 § 9.

¹²⁶ Ср.: В. П. Клиnger, *Сказочные мотивы в Истории Геродота*. Киев, 1903. Стр. 103 сл.; Афанасьев, *Сказки*, № 152 а; A. Wuttke, *Der deutsche Volksaberglauben*, S. 48.

¹²⁷ Процесс перенесения сказочных существ в Ливию начался уже во время Гомера: пигмеи живут «у течения океана», а блаженная страна

лотофагов локализована была на северном побережье Африки. По Геродиоду, уже целый ряд фантастических существ обитает на юго-западном крае вселенной — Эхидна, Герионей и т. д. К Ливии приурочены были великаны Атлант и Антей, райский сад Гесперид, страшные Горгоны, безобразные старухи Граи, злая баба-яга Ламия. В конце VI в. процесс уже закончен. У Гекатея, которому следует Геродот, Ливия уже вполне определенно является сказочным царством; ср.: O. Cursius, у Roscher'a, *Mythol. Lex.*, II 891; H. Diels в *Hermes* XXII (1887), S. 411 sqq (особенно стр. 422). Некоторые из чудовищ, приуроченных к Ливии, раньше предполагались обитающими на крайнем востоке, в Индии; так, напр., *kuno-kephaloi* и *akephaloi*; ср. Diels.

¹²⁸ Что *mutboi Libukoi* получили свое название от места действия, в них изображаемого, — эту мысль впервые высказал О. Курциус (*Wochenschr. f. klass. Philol.* 1891, VIII, S. 625). Курциус, однако, имел в виду главным образом фантастические представления греков о ливийской фауне. Мнение О. Келлера (*Untersuch. Ueber die Gesch. d. griech. Fabel*, 1862 = *Jahrbuech. f. klass. Philol.*, Supplem. IV, S. 307–418), будто *logoi Libustikoi* обязаны своим наименованием тому обстоятельству, что в Ливии (т. е. в Кирене, единственной греческой колонии этой страны) якобы был составлен и издан сборник басен, не находит себе подтверждения в данных литературного предания.

¹²⁹ Заметим, однако, что мотив поимки злых демонов встречался в ливийских сказках. Одна из наиболее популярных фигур этих последних была страшная ведьма Ламия, которую пугали детей во всей Греции, хотя в литературном предании она является прикрепленной к Ливии. Про нее-то, между прочим, рассказывали, что она кем-то была поймана и очутилась в весьма критическом положении (Aristoph. *Vesp.* 1177). Эта, по-видимому, сцена изображена на аттической вазе 5-го века до Р. X., опубликованной в *Mittel. d. archaeol. Institut., Athen. Abth.* XVI (1891), Taf. IX. Чудовище, имеющее вид безобразной старухи со звериными когтистыми лапами, привязано к пальмовому дереву и подвергается разного рода истязаниям со стороны нескольких сатиров. Пальма показывает, что действие происходит в Ливии. Сатиры в качестве действующих лиц заставляют предполагать, что сюжет ливийской сказки был обработан в *drama satyrikon*.

¹³⁰ *Phobon trepbein* (Soph. *Trach.* 28), *deima trepbein* (*Trach.* 107), *en elpisin trepbein* (*Ant.* 897), *taletbes to* (O. R. 356), *to kakon trepbein* (Eurip. *Phoenix*, fr. 810 N; Plut. *Moral.* 57a), *atan trepbein* (Soph. *Ai.* 644), *noson trepbein* (Phil. 795). В основе метафоры, по всей вероятности, лежит образ растения; ср. Plut. *Mor.* P. 81 a; Aeschyl. *Cboeph.* 754. Болезнь, болезненные или вообще волнующие душу чувства и т. д. представляются в виде злокачественного нароста в организме. Но и другое объяснение кажется допустимым. Возможно, что болезни, а затем и аффекты, действительно представлялись вселившимися в человеческий организм демонами: *noson trepbein* значило бы тогда собственно «питать демона болезни», *aten trepbein* — «питать демона погибели» и т. д. О представлении болезней в виде демонов ср.: M. Hoefler, *Krankheits-Daemonen*, в *Archiv. f. Religionswissenschaft.*, II (1899), 86 ff.

¹³¹ Такое значение *lupe* имеем впервые у Геродота, VII, 152.

¹³² II, стр. 335. Главное содержание этой сказки составляет рассказ о птице (уточке), несущей золотые яйца и одаренной сверхъестественными свойствами, о неверной жене и о чудесном избрании на царство. С этими мотивами соединен был рассказ «о двух Долях» (об этом соединении ср. выше). Когда с течением времени Доля счастливая отпала, и осталась только Доля несчастная (ср. новогреч. сказку, упомянутую выше), то на последнюю перенесен был образ и название демона несчастья. Таким образом, получилось повествование следующего построения. Старик Абросим и старуха Фетинья с сыном Иванушкой живут в великой бедности. Раз старик откуда-то промыслил краюшку хлеба и принес ее домой. Вдруг из-за печки выбежал Кручина, выхватил краюшку и ушел опять за печку. Старик просит отдать хлеб, но Кручина отказывается и вместо того указывает, где старик может поймать волшебную уточку. Продолжение — по обычной схеме.

¹³³ Ср.: Th. Zielinski, *Die Maerchenkomodie in Athen*. St. Petersburg, 1885, S. 43, 52. Его же, *Erysichthon* в *Philologus*, 50 (= N. F. 4) 1891, S. 137 sqq., особенно — S. 155, п. 44.

¹³⁴ Выражение «несчастье преследует меня» существует не только в русском, но и во многих других языках.

¹³⁵ Для удобства читателя позволяем себе напомнить формулировку

этой теории, данную самим автором в *Vorlesungen ueber Sprachwissenschaft*, bearb. von Boettger (1866), II, 338: So oft nun ein Wort, das zuerst metaphorisch gebraucht wurde, ohne eine ganz klare Auffassung der Schritte, welche von seiner urspruenglichen Bedeutung zur metaphorischen hinueberfuehrten, gebraucht wird, so ist auch gleich Gefahr vorhanden, dass es mythologisch gebraucht werde; so oft diese Schritte vergessen und kuenstliche Schritte an ihre Stelle gesetzt werden, so hat man Mythologie oder, wenn ich so sagen darf, eine krankgewordene Sprache, mag sie sich nun auf geistliche oder weltliche Angelegenheiten beziehen. Warum ich dem Ausdruck mythologisch diesen umfassenden durch den griechisch-roemischen Gebrauch des Wortes allerdings nicht gerechtfertigten Sinn beilege, wird dann erhellen, wenn wird einsehen werden, dass das, was gemeinhin Mythologie genannt wird, nur ein Teil einer viel Allgemeinaeren Phase ist, durch welche jede Sprache zu irgend einer Zeit einmal hindurchgehen muss. [Так часто теперь используется слово, употреблявшееся поначалу метафорически, без абсолютно ясной точки зрения о тех движениях, что ведут от его начального значения к метафорическим, что тут же налицо оказывается опасность, что оно употреблено именно мифологически; так часто эти переносы забываются и заменяются искусственными значениями, что заболит язык утверждать, что мифология может относиться к духовным или светским делам. Почему я не прилагаю мифологически обширное греко-римское употребление этого слова, вполне, впрочем, оправданное по смыслу, к этому понятию, будет очевидно, когда поймут, что то, что обычно называется мифологией, является только частью большого числа общих фаз, через которые однажды в течение некоторого времени должен пройти всякий язык.] Заметим кстати *petitio principii* [предвосхищение основания], заключающуюся в этом определении мифологии: сперва произвольно определяется понятие слова в разрезе с тем, что обыкновенно под ним понимают; а затем верность нового толкования доказывается тем, что общепринятое значение слова не совпадает с вновь установленным. — Из русских ученых последователями теории М. Мюллера являются Афанасьев и — с некоторыми ограничениями — Потебня. Последний правильно отвергает приурочение «мифосозидательного периода» к определенной стадии в развитии языка, а также высказывается против термина «болезнь языка». Но он при-

соединяется к данному М. Мюллером определению понятия «мифологии» и доходит до такого абсурда, что в выражениях вроде «стена потеет» или «примочка вытягивает жар» находит примеры «мифического мышления» (Потебня, *Из записок по теории словесности*. Харьков, 1905, стр. 587 сл.).

¹³⁶ Влияние языка на возникновение (мифологических и иных) сказаний и даже верований и обрядов наиболее ясно выступает там, где примешана т. наз. «народная этимология». Ср., напр., сказку про золотые усы Иоанна Златовуса, т. е. св. Иоанна Златоуста (Романов, *Белорусский сборник*, IV, стр. 16). Сюда же относятся Кузьма-Демьян как кузнецы счастья, особенно брачного (Веселовский, *Разыскания*, V, стр. 201, 207); Симон Зилот как покровитель зелий и золота; Маккавей как покровители мака и вытекающие отсюда верования и обычаи (Чубинский, *Труды этнограф. экспед.* III, стр. 184, 225). — Некоторые примеры указывает и М. Мюллер, *Vorlesungen*, II, 486 ff.

¹³⁷ *Великорусские народные сказки*, изд. А. И. Соболевский, 1895, т. 1, № 442.

¹³⁸ Елпид. Барсов, *Причитания Северного Края*, I, стр. 8.

¹³⁹ Елпид. Барсов, *Причитания Северного Края*, I, стр. 17. В этой же заплачке злой демон называется также Кручиной. — О связи Гора-Обиды причитаний с девой Обидой «Слова о полку Игореве» и о происхождении этого последнего образа чрезвычайно интересный намек у Веселовского, *Разыскания*, вып. V, стр. 253, прим. 1.

¹⁴⁰ Чубинский, *Труды этнограф. ком.* V (1874), стр. 478, № 67; ср. также: П. Иванов, *Народные рассказы о Доле* (Сборник Харьковск. истор-филол. Общества, IV, стр. 73).

¹⁴¹ Максимович, *Малороссийские песни*, Москва, 1827, стр. 141 № 91; ср. также: Иванов, стр. 74.

¹⁴² Чубинский, *Труды этнограф. ком.* V (1874), стр. 478, № 65.

¹⁴³ П. Иванов, *Народные рассказы о Доле* (Сборник Харьковск. истор-филол. Общества, IV, стр. 73).

¹⁴⁴ *Народные южнорусские песни*, изд. Амвр. Метлинский, Киев, 1854, стр. 21. В варианте на стр. 20 читается: «Щоб моему козаченьку *хвортун* служила». В виду отстаиваемого нами римского происхождения всего представления о личной Доле, это различие не лишено значения.

¹⁴⁵ Потебня, стр. 155. Интересна «народная этимология», сблизившая слова «хвортуна» и «хуртовина» (собств. *вьюга, метель*).

¹⁴⁶ Станный в данной связи мотив продажи, по словам Потебни (О Доле, стр. 169), встречается также в немецких сказаниях о кобольде-домовом. Мы не знаем, какие сказания Потебня имел в виду.

¹⁴⁷ [М. В.] Довнар-Запольский, *Женская доля в песнях пинчуков*, Этн. обзор. III, 1891, № 2, кн. IX, стр. 52.

¹⁴⁸ *Повесть о Горе-Злосчастии*. Изд. Отделения русск. яз. и слов. Имп. Академии наук (П. Симони). СПб., 1903, строки 366–379. [Созданная в XVII в., «Повесть о Горе-Злосчастии» — лироэпическая поэма о добром молодце, склонном к кроткому пьянству, неотвязно преследуемом Горем-Злосчастием — двойником его слабостей и недобрых мыслей, от которого он спасается уходом в монастырь. Считается характерной необычным для прежней литературы теплым сочувствием автора к заблудшему «в Бахусе» персонажу. См.: Повесть о Горе-Злосчастии / Подгот. текста и прим. Д. С. Лихачёва // «Изборник»: Сб. произв. л-ры Древней Руси / Сост. и общ. ред. А. А. Дмитриева и Д. С. Лихачёва. — М., 1969. — С. 597–608.]

¹⁴⁹ *Истор. очерки русской народн. словесн. и искуств.*, т. I, стр. 642.

¹⁵⁰ По Веселовскому, это представление восходит к учению богомилов. См.: *Russische Revue* XIII (Slavische Kreuz und Lebensagen), 1878, 149; *Разыскания*, вып. IV (Сборник отд. р. яз. и слов., т. XXXII, 1883), стр. 396; Ж. Мин. нар. просв. 1888. Август, стр. 465 сл.

¹⁵¹ Двойственности образа Горя соответствует отсутствие единства во внешней композиции повести. Она распадается на две части (после общего введения — строки 39–200 и 201–392), во многих отношениях параллельные: повторяются одни и те же мотивы. Молодец дважды «принимается за питья за пьяные» и пропивает «свои животы» (стр. 100 сл., 264 сл.), первый раз, соблазненный своим братом названным (99), другой раз — прельщенный Горем, принявшим образ архангела Гавриила (251). Впавши в «нищету последнюю» (173), «в наготу и босоту безмерную» (254), он дважды надевает на себя «гунку кабацкую» (114 и 265) и, стыдясь появиться в таком наряде «своим милым друзьям» (129 и 268), дважды отправляется «на чужу страну дальну» (130 и 269). Повторение одних и тех

же мотивов и черт оказалось возможным только благодаря тому, что автор заставляет своего героя после первого переселения на чужбину внезапно разбогатеть. Но эта внезапная перемена в его обстоятельства ничем не мотивирована: «учал он жить умеючи, от *великого разума* наживал он живота больше прежнего», говорится в 202, а в 73 было сказано, что он «глуп... и несовершен разумом». Горе выступает только во второй части; в первой зато преобладает нравоучительный элемент в виде наставлений родителей (41–71) и гостей на почетном пиру (185–200). [Представления о *фронтальном принципе построения композиции литературных произведений* появятся в литературоведении и фольклористике через два десятилетия после этого наблюдения А. И. Сонни (см., напр., обзор в: *Пучков А. А. Поэтика античной архитектуры*. — К., 2008. — С. 781–800). Впрочем, Сонни еще не говорит о *фронтальности*, он говорит о *параллельности*.]

¹⁵² *Очерки*, I, стр. 639.

¹⁵³ *Разыскания*, V, стр. 256.

¹⁵⁴ *Разыскания*, V, стр. 249, 252.

¹⁵⁵ Не все черты в образе Горя согласованы в повести с идеей заслуженности. Следующие, напр., слова Горя (стр. 218–222) —

Не хвались ты, молодец, своим счастьем,
Не хвастайся своим богатством!
Бывали люди у меня, Гoria,
И мудрее тебя, и досужае,
И я их, Горе, перемудрило! —

рисуют не столько карателя, воздающего по заслугам за совершенные грехи, сколько стихийную силу, действующую со стороны, извне, и слепо разрушающую всякое человеческое счастье.

¹⁵⁶ Веселовский, *Разыскания*, стр. 260.

¹⁵⁷ Напр., № 439 в сборнике Соболевского.

¹⁵⁸ Напр., Соболевский, № 440.

¹⁵⁹ Особенно важно было бы установить взаимное отношение великорусских и малорусских песен.

Сокращения

Об этой книге

ВДИ — «Вестник древней истории» (Москва)

ГАГК — Государственный архив города Киева

ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения» (СПб)

ИПСИ НАМ Украины — Институт проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины (Киев)

ИР НБУВ — Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского НАН Украины (Киев)

НХМУ — Национальный художественный музей Украины (Киев)

УИ — «Университетские известия» (Киев)

ФО — «Филологическое обозрение» (СПб)

ЧИОНА — «Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца» (Киев)

AFL — «Archiv fuer lateinische Lexikographie und Grammatik mit Einschluss des aelteren Mittellateins» (Лейпциг)

Ph — «Philologus: Zeitschrift fuer das klassische Altertum» (Геттинген, Лейпциг)

ZRPh — «Zeitschrift fuer romanische Philologie» (Тюбинген)

Строго говоря, рассматривать книжку Андрея Пучкова с точки зрения традиционного историко-биографического жанра бессмысленно. Ибо именно с этой точки зрения к ней следовало бы предъявить целый ряд претензий: где хотя бы вскользь обозначенное определение актуальности исследования и его ответы на животрепещущие вызовы современности? где итоговая оценка научной деятельности Адольфа Сонни? где определение его вклада в национальную культуру (какую — древнегреческую? немецкую? еврейскую? российскую? украинскую?), где социально-политические противоречия, где классовая борьба, где обобщения, выводы и пр., пр., и пр.? Разве что юбилейная дата, да и то, не самая круглая — сто пятьдесят лет со дня рождения. А стиль? Применил бы, пусть для отвода глаз, тройку-другую культурологических заманилок в духе «рецепций», «рефлексий», «интеграций» или всепоглощающего, словно черная дыра, «симулякра»! Порой даже вкрадывается подозрение, не берет ли автор пример со своего героя, который в выводах академической рецензии на латинско-немецкий словарь Й. Штовассера писал, что «помимо своего дидактического значения, новый словарь представляет значительный интерес», ибо «в нем предлагается множество новых этимологий и объяснений, *отчасти блестящих и несомненно верных, отчасти рискованных и сомнительных, но всегда оригинальных и остроумных*». Что за набор — странных для про-

свещенного века и утонченного академического слуха — эпитетов?

Но шутки — в сторону, а напускную строгость — тем более; ведь правомерны они лишь для разращенного авторефератами, скользящего по поверхности, в поиске актуальных словосочетаний, сознания. При чтении медленном все эти вопросы отпадают, и тогда вдруг, перелистывая страницу, застываешь и — просветлени! — осознаешь, что вот же оно, наконец, свершилось: кто-то должен был соорудить такую архитектурную конструкцию в академическом стиле — хотя бы статью, в которой количество ссылок и комментариев в несколько раз превышало бы объем основного текста, или школьную драму — с ее синопсисом, аргументом, антипрологом, прологом, междувброшенными действиями и навершием речи, а может быть, античную трагедию с прологом, пародом, агонем и пр.; на худой конец — биографию неродившегося еще деятеля культуры — в духе предисловий Борхеса или очень кстати упомянутого автором творения братьев Жемчужниковых. И опять же — с величественным прологом — сначала в театре, затем — на небе, возможно, даже с Вальпургиевой ночью. Чтобы оставить читателя в легком недоумении: прикалывается автор или всерьез?

Неудивительно, что замысел этот воплотил архитектор и культуролог, историк и просто провокатор мыслей, блестяще владеющий академическим стилем, а потому и позволяющий себе джазовые фривольности на полях канона (возможно, именно поэтому канон в его исполнении становится таким привлекательным), артистично балансирующий между двумя берегами — академического и художественного изложения.

На сей раз он решил провести своих читателей коридорами эшеро-годаровского лабиринта, в зеркалах которого его герой, интерпретируя давние тексты, словно рассматривает в тех же зеркалах лица каких-то древних единомышленников, в то время, как автор — всматриваясь в ту же тайнопись — по-

вествует о научной деятельности, жизненном пути и темах своего героя; читателю же ничего не остается в этой ситуации, как, подчинившись не без удовольствия авторскому приему, рассмотреть в отражениях этих «туманных картин», словно в тройном (или множественном) портрете, и Андрея Александровича, и всех его героев, и, главное — не без любопытства, смешанного с наслаждением, — самое себя, что и создает особое послевкусие, букет этого текста (заметим, кстати, что этот прием двойного или тройного изображения относится к числу тех, которыми, среди других, очень элегантно манипулирует автор; так, в книге о Кулаковском у него веселая строка — «после этого стоит только развести руками в двойном недоумении: и искренним недоумением Юлиана Андреевича, и своим недоумением его недоумением»).

Материал, из которого автор выстраивает архитектуру своей часовенки, — это обломки прежнего здания — не только жизни его героя, но и самого времени. И неудивительно, что в процессе создания своей конструкции он вынужден избегать жестких креплений по принципу «аргумент» + «аргумент» = «вывод». Нет, здесь каждый черепок нужно так подогнать, чтобы прошлое воссоединилось в целое картины. А это совершенно иной, отличный от абстрактного жонглирования словесами, метод, применение которого и создает постоянное ощущение, что последнего камня ты так и не увидел.

При кажущейся, на первый взгляд, простоте — объем чуть более десяти листов вместе с текстами самого героя, тираж — сто пятьдесят не тысяч, экземпляров — для узкого круга читателей — книжка на самом деле является серьезной загадкой и провокацией — не только для античников и историков, но и для любого гуманитария, ибо ставит, хоть и не формулирует, ряд вопросов, над которыми мы как бы (!), и не задумываемся — как бы (!) идем куда-то, забыв сделать остановку, чтобы остановиться, оглянуться и спросить — а куда мы, собственно, идем и, разумеется, зачем?

Адольф Сонни, которого лишь очень условно можно назвать героем этой книги — малоизвестная фигура, или, точнее, фигура, известная лишь в узких кругах историков античной культуры, фигура, о которой сложно сказать, что его имя актуализировало время. Не было особого внешнего драматизма в его биографии — изо дня в день ходил на службу, написал несколько десятков незначительных по объему научных трудов, гонениям и преследованиям не подвергался, скандалами не прославился, никакого участия в политических движениях не принимал и даже «при любой возможности избегал каких-либо политических или партийно-общественных заседаний». Очевидно, о нем можно было бы написать те же слова, которые более ста лет назад он уже и сам сказал: «Имя Диона Хрисостома не из тех, которые знакомы всякому образованному человеку. Это — писатель малоизвестный в самых тесных кругах специалистов» (*наст. изд., стр. 138*). Разве что кому-то вдруг случайно бросится в глаза в одном из изданий «Римской истории» Аммиана Марцеллина строчка: «Перевод с латинского Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни», впервые изданный в Киеве в 1906–1908 гг.

В связи с чем и хочется с демократической любознательностью и не менее пытливой научной принципиальностью спросить автора: а какое, собственно, Вам дело, Андрей Александрович, до Адольфа Израилевича? Зачем прах ворошите? Что Вам нейдет? Или же Вы не в состоянии рассмотреть более важные темы — о «нашей буче — боевой, кипучей», например? Все уваливаете, прячетесь в мелкотемье, и никак не хотите заняться общественно полезным трудом?

На самом деле, нет, никто и никуда не уваливает.

Принципы исторического человековедения автор изложил в одной из предыдущих книг, посвященной соавтору Сонни по переводу Марцеллина: «Юлиан Кулаковский и его время: Из истории антиковедения и византистики в России», сначала изданной в Киеве в 2000-м году (затем,



Памятник св. кн. Владимиру, 1853, скульпторы В. И. Демут-Малиновский, П. К. Клодт, архит. К. А. Тон, фото 1980-х

в 2004-м — в Санкт-Петербурге). На ее страницах он объявляет свой принцип, согласно которому «биографические книги» должны быть написаны «как роман: броско, живо, приключенчески»; но тут же и останавливается — ведь биография его героя — не внешняя история, а «тихая глубина <...> и постоянное боре́ние в самом себе, между карьеристом и мыслителем, монархистом и либералом, ученым и профессором, между археологом, историком и филологом, человеком тонко чувствующим и закоренелым прагматиком»; в нем «нет цинизма, но есть лицемерие — как в каждой многогранной натуре, вынужденной социализироваться». Есть еще одна особенность, отличающая «приключенческую» биографию от «пучковской» — плотность текста, насыщенность его фактами, а не модными словосочетаниями, познаваемостью, а не узнаваемостью. На страницах этой же книги несколько десятков раз встречается и имя нашего сегодняшнего героя — Сонни; однако там он еще почти в массовке, на втором плане, в числе тех, кого, главным образом, называют «и пр., и др.».

В названии книги есть еще одно слово — то самое, которое — предположу, с позволения автора, — и должно помочь читателю найти ключ к жанровой природе этого повествования: *«киевлянин»*.

И это один из главных вопросов книги: кто такой «киевлянин» начала XX века?

Аркадинский «киевский мещанин»?

Человек, живший на перекрестке, на пересечении времен, культур, религий — немецкой и еврейской, русской и украинской, античной и лютеранской, то есть культуры XX века?

Заблудившийся в городе, где процветал «примат визуальности над умственностью»?

В городе, «где происходит нечто причастное культуре»? («Искреннее спасибо Вам за надежду, которую Вы мне даете, иметь возможность зарабатывать деньги литературными

трудами <...> Киев в этом отношении действительно гораздо счастливее, чем другие университетские города, где или негде печататься, или же можно поместить что-нибудь только с большими трудами и хлопотами», — писал в 1881 году Юлиан Кулаковский; цитирую по уже названной книге А. Пучкова).

Или...?

Этот вопрос не впервые занимает автора — к примеру, в предисловии «Юлиан Кулаковский: профессор и лекции» к книге Кулаковского «История римской литературы от начала Республики до начала Империи в конспективном изложении», изданной в Киеве в 2005-м году, он писал: «Едва ли из провинциального университета вышли бы Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Лев Шестов, Г. Г. Шпет, Я. Э. Голосовкер, С. Д. Кржижановский, М. А. Булгаков, не будь он пронизан духом “центральной” культуры».

Но серьезные вопросы не решаются раз и навсегда, они живут вместе с автором, тревожат, ответы — самопроверяются и заставляют возвращаться к ним снова.

Не ответы на эти вопросы, но их поиски создают напряженность сюжета книги, ее основную интригу, а по сути — являются манифестом самого автора, ибо Сонни — позволю себе предположить — один из его лирических героев.

Оба они знают, что такое ходить на службу (полтора часа на дорогу), оба увлечены античностью и оба, очевидно, мучимы вопросами о том, кому это, собственно, нужно?

В «оценке творчества» своего героя (аттестации его научно-педагогической деятельности), а точнее — в попытке понять человека и дело его жизни, автор пытается быть объективным; примером чему — блестящая фантазия о том, как Сонни читал в Киевском университете скабрёзного Катутла, на рядом, буквально через несколько страниц, вполне авторитетное свидетельство современников о занудстве Сонни («очень милый человек, но скучен немилосердно»). Или —

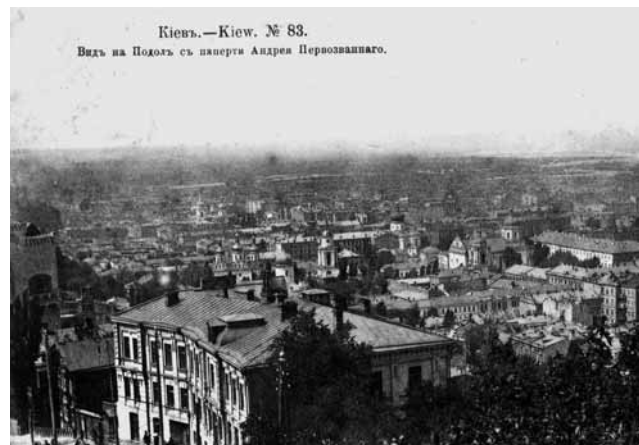
с одной стороны, скромный список публикаций Сонни, с другой — отзывы авторитетных зарубежных коллег о научном вкладе Сонни. Когда же кажется, что повествование вот-вот сведется чуть ли не к канонической маске — к примеру, кабинетного ученого («Сонни был классическим кабинетным ученым и классическим университетским профессором классического немецкого образца: работа, наука, семья»), «ратоборца самодовлеющей науки», — автор в очередной раз ломает бастион наших стереотипов и показывает — нет, нет, это не конец пути; путь — рядом, за поворотом; но за поворотом мы увидим другое лицо, другой ракурс или, точнее, другое отражение, в другом зеркале, а значит, другого человека, который уже не вписывается в наше представление об амплуа ученого — Доктора из комедии дель арте, Джордано Бруно из школьного учебника, Паганеля или профессора Серебрякова.

Образ такого классического ученого начинает раздвигаться в нашем сознании, воспитанном на разночинских мифологемах XIX столетия, буквально с первых же страниц повествования, когда, например, маска «ратоборца самодовлеющей науки» впервые сталкивается с его же чином — гражданским чином IV класса — чином действительного статского советника (что приравнялось к генерал-майору или контр-адмиралу), то есть не просто с профессором по кафедре классической филологии и доктором греческой словесности, но с «Его превосходительством», каковых во всей империи насчитывалось в то время чуть более трех тысяч, а среди прочих к этому чину принадлежал и достоправный директор Провиантской Палатки, историк, философ и вообще едва ли не крупнейший мыслитель времен и народов, награжденный, как и Сонни, орденом св. Станислава, Козьма Петрович Прутков.

Но вот еще один виток главного сюжета: а как, собственно, чувствовал себя этот знаток мертвого языка в окружении «киевских мещан»?



Вид на Подол от Михайловского подъема (фуникулера), фото 1910-х



Вид на Подол с паперти Андреевской церкви, фото 1910-х из архива И. А. Зотикова

Характеризуя взгляды одного из своих героев, Диона Хрисостома, Сонни писал: «Только освободившись от чада культуры, отказавшись от суетного многоделания, отрезвившись и опростившись, человек может сосредоточиться на том едином, что на потребу, и сделать закон правды, который есть закон природы, единственным путеводителем своей жизни» (*наст. изд., стр. 156*).

Чего больше в этом утверждении — основ кинической философии или самого Сонни?

И кому принадлежит сам этот образ — чадающей культуры?

Андрея Пучкова не раз подмывает — и это могло бы стать предметом спора — перенести реалии сегодняшнего дня с его конфликтами и рухнувшими надеждами в эпоху, в которой жил и работал его герой, — и тоже с конфликтами, несбывшимися надеждами, но совершенно иными, чем наши.

Ведь всегда проще дать интегральную характеристику эпохе, чем понять ее, принять и оставить без «снятия» все ее противоречия.

Но автору удастся избежать искушения.

Благодаря чему между строк его исследования и начинает пульсировать, затем биться, словно птица в клетке жеманного академического «дишкурса», самый сюжет, который уверенно можно назвать актуальным, но в совершенно ином смысле — и именно для киевлянина.

И сюжет этот — о бисере.

О бисере, которым на протяжении всей своей жизни занимался Адольф Сонни, киевлянин.

А как иначе назвать его (мало кому нужные, или уж совершенно ненужные, с точки зрения социума) интерпретации древних текстов?

К счастью, автор не дает ответа на вопрос о том, разбрасывал ли его герой щедрой рукой бисер перед киевскими мещанами или же, запершись в своей профессорской келье, вел не менее почтенные игры в бисер с самим собою.

Задавать сегодня эти вопросы — чересчур наивно; тем более, для автора, играющего на протяжении нескольких десятилетий в игры, очень похожие на те, в которые играл его герой.

Но именно вокруг этих скрытых «гамлетовских» вопросов со всеми последующими интеллигентскими комплексами и вьется предложенное читателю повествование — а значит, вьется вокруг самого главного.

Один из учеников Сонни, Павел Блонский, в воспоминаниях писал: «Одно из уродств русской жизни в царской России — что такой знаток языка, литературы и поэзии, как А. И. Сонни, ничего почти после себя не оставил» (*наст. изд., стр. 80*). От этой фразы почему-то возникает ощущение, что писал ее не ученик Сонни: уж чересчур конкретно дан в ней ответ на вопрос, входящий в экстернально-маниакальный синдром отечественной интеллигенции, ориентированной на поиск виновного.

Тем более, что косвенное подтверждение такому предположению находим в исследовании Сонни «Горе и Доля в народной сказке», публикуемом в этом издании. Полемизируя с авторитетными своими предшественниками Н. И. Костомаровым, А. А. Потебней, А. Н. Афанасьевым и А. Н. Веселовским и считая, что «в отличие от конструктивного, синтетического метода, применяемого г-ном Веселовским, единственным надежным путем нам кажется метод аналитический», он писал: «Горе и т. д. великорусских песен всегда является стихийной силой, стоящей вне человека: оно преследует человека, приставши к нему при том или ином случае. Никогда оно не представлено прирожденной человеку личной Долей. Взгляд Костомарова, Потебни и Веселовского, отождествляющих Горе с Долей-Недолей, находит себе в великорусских песнях столь же мало поддержки, как и в рассмотренных нами сказках. Зато в малорусских песнях действительно встречается смешение личной Доли и демона

несчастья. Личная Доля играет в них значительную роль. Несчастливцу жалуется, что его Доля не такая, как Доля других. Те ничего не делают и богато живут; а он, несмотря на все свои труды, ничего не имеет» (*наст. изд., стр. 237*). Дальше в рассуждении Сонни происходит «отождествление Горя с христианским дьяволом», что выходит за рамки казалось бы чисто филологических игр, ибо заставляет задуматься о недосужих, по крайней мере для христианина, вопросах.

Столь длинная цитата — для подтверждения права всего лишь на один вопрос: а что, действительно, все зависит от «уродств русской жизни в царской России» и Сонни «ничего почти после себя не оставил»?

А может быть, наоборот: оставил ровно столько, сколько мог и сколько хотел; ведь небыстрое это дело — слова кантиленно связывать, да так, чтобы прочитали — лет эдак через сто.

Этот вопрос, в связи с личностью Юлиана Кулаковского, автор уже ставил в цитированной раньше книге: «Можно ли наградить» ученого «каким-нибудь звонким эпитетом, вроде “гениальный”, “великий” или, на худой конец, просто “выдающийся”? И сам же дал исчерпывающий ответ: «Я всегда с известной иронией относился к подобным дифференциациям, которыми привычно кишат справочно-энциклопедические издания».

Среди других аспектов биографии Сонни в поле зрения его биографа попадают и факты, от которых обычно полубрезгливо отворачивается нос интеллигентного (не побоюсь во второй раз употребить это слово) читателя, а уж тем более, интеллигентного (в третий раз!) ученого. Да, да, конечно, речь о грязном, о земном — о деньгах, и не только. Например, о том, что, читая лекции по кафедре классической филологии в качестве приват-доцента, он получает вознаграждение в размере 1200 рублей в год, а затем — пенсию в размере 3000 рублей в год (что позволяет ему и содержать

дачу в Пуше-Водице, и отдыхать на престижных курортах). Как бы не смущали кого-то такие житейские «детали», но без них не понять ни путей науки конца XIX — начала XX века, ни судьбы одной отдельно взятой личности, ибо материальным вознаграждением, а не грамотами от месткома и красивыми словесами, соответствующими жанру юбилея или панихиды, определяется истинная оценка труда ученого — как обществом в целом, так и его ученым сообществом.

Завершается исследование рассуждением автора о «большинстве хороших знатоков языка», которые, являясь «переносчиками знания», «на что-то более основательное, выходящее за рамки знания языка в пространство культуры вообще <...>, к сожалению, в большинстве своем не способны» (*наст. изд., стр. 90*).

К счастью, к Сонни, — и об этом пишет автор, — эта фраза не имеет отношения, но пройти мимо нее все равно не можется, поскольку она провоцирует все те же повседневные вопросы: о ценности человеческого знания, о том, является ли знанием механическая память, неспособная выйти в пространство культуры, связать прошлое и настоящее, слова и жизненную практику; или, если, по рекомендации сегодняшних столпов науки, быть проще, то сводится к вопросу о том, за что получает студент экзаменационную оценку, а все мы — в жизни; за объем винчестера, или за программное обеспечение, способное или неспособное обрабатывать ресурсы и ответить на запросы пользователя?

И это, безусловно, имеет самое непосредственное отношение к человеку, который жил, добросовестно делал свое дело, «в течении тридцати лет читал одни и те же лекционные курсы», пытаясь восстановить порвавшуюся связь времен, «печатал в среднем в году по одной научной публикации».

Трудился он вроде бы и не зря, а вот же — никому раньше и в голову не пришло — взять да и вспомнить, вспомнить, чтобы поближе рассмотреть, услышать, а об увиденном и ус-

лышанном рассказать — всего лишь об одной отдельно взятой песчинке (или бисеринке?) — о жизни странного человека — то ли немца, то ли еврея, то ли древнего грека, «представителя городского кинизма конца XIX века» в одном отдельно взятом стольном граде Киеве.

О жизни нашего соотечественника, мечтавшего, очевидно, как и мы, о счастье, и — да не обессудит читатель за излишнюю смелость утверждения — нашего единомышленника.

Ибо это и есть история — точнее, один из ее сюжетов, без которого ни история классической филологии в Императорском университете св. Владимира, ни история жизни в городе Киеве, ни история жизни вообще не будет полной.

Блудливая девица, представляющаяся то как Клио, то как Фемида, немало постаралась, чтобы затереть имя нашего героя — вот ведь, даже могилки не осталось (как случилось и с его коллегой Юлианом Кулаковским).

И представим же себе, какая радость случилась на небесах, когда через сто лет нашелся у Адольфа Израилевича внимательный собеседник, Андрей Пучков, который не стал укорять своего старшего коллегу за то, что, дескать, мало тот написал, не стал искать виноватых, а просто поговорил, по душам.

Значит, не зря, и смысл — есть?

Возможно, он состоит, в частности, и в том, что после прочтения книжки хочется узнать еще больше об Адольфе Сонни, лютеранине.

И о том, как изо дня в день он ходил на службу — возможно, по Лютеранской улице, хотя для этого и пришлось бы сделать круг.

Ибо где же завершиться книжке, начавшейся с Praefatio — молитвы-благодарения за благодеяния Божьи, читаемой перед евхаристическим каноном, — как не в кирхе (где, по предположению М. Б. Кальницкого, разделяемому и А. А. Пучковым, состоялось отпевание Сонни).



Улица Николаевская (ныне Архитектора Городецкого). В центре — Театр-цирк П. С. Крутикова, в котором 29.04.1918 на Съезде хлеборобов был избран гетманом Украины генерал П. П. Скоропадский; фото начала XX в.

Ведь книжка не дает ответов ни на один из поставленных ею же вопросов.

Ее задача, думается, иная — создать лабиринт, в котором читателю еще долгое время после прочтения предстоит бродить в поисках одного из тысяч правильных выходов.

Для того, в частности, чтобы сначала расшатать, а затем разрушить и навсегда расстаться со стереотипным представлением — и об «ученом классического типа», и о «киевском мешанине».

«Книга двухчастна...» — такими словами начинает повествование Андрей Пучков.

На самом деле — многочастна — как по внутренней конструкции, так и во внешних связях; она — лишь глава в эпическом сюжете, которому посвящены многие предыдущие труды автора: об истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира, об истории культуры знания и научно-педагогической деятельности в Киеве и просто о старших коллегах, киевлянах, под созвездием которых мы живем.

Но сюжет этот — не линейный; обозначив территорию, автор не спешит вкапывать столб с заявкой первооткрывателя-золотоискателя, он словно кружит вокруг своего объекта, делая каждый раз новые и новые наблюдения, что создает особый притягательный эффект текста: вдруг понимаешь, что оказавшиеся в поле нашего зрения персонажи Пучкова — правильные; никто из них не совершает ошибок; все они поступают в соответствии со своими моральными принципами, мышлением, целями, задачами и обстоятельствами; конфигурация эта каждый раз оказывается иной, но точно так же, как автор избегает эпитетов («великий» и пр.), избегает он и жанровых, то есть оценочных определений чужого бытия и творчества («триумф», «трагедия» и др.); он не разоблачает и не воспекает своих персонажей, ибо «зло есть в добре, добро — во зле», а «плохие» и «хорошие» существу-

ют лишь в инфантильном детском сознании, в театре масок, в политической пропаганде и в мозгу, опьяненном страстью — любви и ненависти.

Возможно, именно поэтому в книжке отсутствует рецензирование (особенно — в духе того, какое дал в свое время П. В. Безобразов на книжку Кулаковского: «Нельзя не оценить исключительного трудолюбия проф. Ю. А. Кулаковского. Но в то же время нельзя не пожалеть, что он потратил много времени на работу не нужную, давно сделанную другими и не хуже него»; прочитав такую, с позволения сказать, рецензию, трудно избежать мыслей о бессмысленности рецензии как жанра и не задуматься о самой природе — интеллектуальной, моральной — оценки чужого труда. Впрочем, безобразовскому типу рецензии можно с полным основанием противопоставить рецензирование самого Сонни, которое следовало бы вообще использовать в качестве памятки для рецензента: так, в отзыве о сочинении магистранта Г. Г. Павлуцкого он пишет: «автор не вполне знаком с литературой того предмета, о котором пишет <...> Правда, недочеты в этом отношении в значительной степени зависят от условий, при которых г. Павлуцкому пришлось исполнять задуманную им работу, то есть от неудовлетворительного состояния русских библиотек вообще, а киевских в частности <...> Требовать безусловной полноты материала значило бы отрицать вообще возможность занятий классической археологиею» (*наст. изд., стр. 111*); «автор не господствует над материалом, а увлекает им»; в другой реплике — «О названии коринфского архитектурного ордена» — Сонни мягко, без нравоучений и снисходительности, поправляет автора: «Признаюсь, — пишет он, — что это объяснение на первый взгляд показалось мне весьма правдоподобным», но впоследствии выясняется, что «так как этот термин встречается уже у Аполлония Родосского, то он во всяком случае на целое столетие древнее сооружения портика Октавия» (*наст. изд., стр. 136*);

таким образом, поправка длительностью в сто лет делается как уточнение факта, а не справедливый визг возмущения).

В судьбах героев Пучкова нет взлетов и падений — есть бытие, в котором у каждого персонажа свое горе и своя доля.

В этом смысле книжка подобна античной трагедии — она *мифологична, бесстрастна, бесстрашна и фаталистична* («у трагедии — сухой голос», — говорил Мейерхольд).

И также, как и античная трагедия, она — *радостна и любвеобильна*, что определяет методологию, в основе которой лежит не погоня за безапелляционным выводом в духе броского политического слогана, а неспешное *размышление* — иногда ироничное, иногда грустное, иногда веселое, но никогда не умозрительное, оно всегда опирается на *удивление* и — очень часто с приматом визуального, с любовью к деталям — *наблюдение*.

Александр КЛЕКОВКИН

Указатель имен

- | | |
|--|--|
| Абрамов М. А. — 14, 83 | Арним Г. фон — 47, 48, 55 |
| Абстемий Л. — 200, 203, 204, 209 | Арриан, Луций Флавий — 143 |
| Авиен, Руф Фест — 99, 103 | Арсиноя — 166 |
| Адриан, Публий Элий Траян — 110 | Асмус В. Ф. — 14, 18, 19, 83, 85 |
| Александр II (Романов) — 221 | Атлант — 258 |
| Александр Македонский — 39, 81, 163 | Афанасьев А. Н. — 186, 192, 195, 210, 211, 214, 220, 225, 232, 246, 247–250, 253–257, 260, 275 |
| Алмазова Н. С. — 37 | Афина Полиада — 129, 130 |
| Аммиан Марцеллин — 25, 56, 57, 61, 62, 64, 95, 208, 252, 268 | Афинагор — 48 |
| Ананьин С. А. — 76 | Базилевич В. Н. — 75 |
| Андрей Белый — 16 | Балинский К. — 212, 222 |
| Андрей Первозванный, св. — 79 | Бальмонт К. Д. — 16 |
| Аникин А. В. — 7 | Барков И. С. — 12 |
| Антеи — 258 | Барсов Е. — 257, 261 |
| Антисфен — 155, 158, 159 | Безобразов П. В. — 281 |
| Аполлон — 110, 112, 161 | Бейлис М. М. — 70 |
| Аполлоний Родосский — 104, 136, 281 | Бейнз Н. — 62 |
| Апулей, Луций — 25 | Беломесяцев А. Б. — 46 |
| Арефа — 48, 91 | Бенешевич В. Н. — 44, 46 |
| Аристоксен — 182 | Бензелер Г. — 118 |
| Аристотель — 92, 98, 164, 175, 179, 182, 228 | Бердяев Н. А. — 17, 271 |
| Аристофан — 67, 86, 91, 96, 258 | Беретти А. В. — 51, 123 |
| | Беретти В. И. — 27, 63 |
| | Бернгардт Р. Б. — 123 |

Блок А. А. — 16
 Блонский П. П. — 78, 80–82, 275
 Богословский Е. С. — 172
 Боккаччо Дж. — 226, 232
 Бокщанин А. Г. — 55
 Бонгард-Левин Г. М. — 50
 Бонхёффер А. — 50
 Боровиковский А. И. — 212, 247
 Борухович В. Г. — 172
 Босенко А. В. — 20
 Брагинская Н. В. — 52, 78
 Братман Э. П. — 53, 123
 Брокгауз Ф. А. — 30
 Бругманн К. Фр. Х. — 13
 Бруно Дж. — 272
 Брут, Децим Юний — 103
 Брюно Б. Р. — 76
 Бубнов Н. М. — 136
 Буде Г. де — 48
 Бузескул В. П. — 28, 30, 60, 61
 Булгаков М. А. — 271
 Булгаков С. Н. — 25, 271
 Буслаев Ф. И. — 185, 242, 243, 245
 Бюхер К. — 95, 173, 174, 179, 180, 182, 183
 Вакхилид — 164
 Валиевский А. А. — 5
 Вальденберг В. Е. — 55
 Васильев А. А. — 62
 Васильев М. К. — 213, 248, 253
 Васильевский В. Г. — 60, 80
 Вёльфлин Эд. — 92
 Венера — 209
 Вергилий, Публий Марон — 11, 25,

38–40, 90, 180, 256
 Вернадский В. И. — 48, 74
 Вернадский Г. В. — 48, 49
 Веселовская А. И. — 15, 16
 Веселовский А. Н. — 28, 186, 187, 189–192, 195, 201, 202, 206, 211, 219, 233, 237, 243, 249–253, 257, 261, 262, 275
 Веспасиан, Тит Флавий — 111
 Виламовиц-Мёллендорф У. фон — 99
 Вилькен У. — 94, 163, 164–166, 168–171
 Виноградов П. Г. — 66
 Витрувий — 107, 109, 110, 114, 135
 Виттингтон Дик — 201
 Вишневский М. В. — 95
 Владимир, св. кн. — 269
 Воеводский А. Ф. — 30
 Волкович А. Н. — 14
 Волкович Н. М. — 14
 Воловский С. И. — 19
 Гавриил, архангел — 262
 Гай Г. Ю. — 13
 Галайба В. В. — 9, 46
 Гальба, Сервий Сульпиций — 81
 Ган Г. фон — 202
 Гаспаров М. А. — 12, 22, 64, 132
 Гаст П. — 161
 Гекатей Абдерский — 104
 Гекатей Милетский — 100
 Геккель А. — 38
 Генкель А. Г. — 95
 Георгес К. Э. — 118, 127

Георгиевский А. И. — 36
 Георгиевский Л. А. — 37
 Геракл — 55, 158
 Герод Аттик — 92, 164
 Геродот — 25, 258, 259
 Гесиод — 247, 257
 Геспериды — 258
 Гиляров А. Н. — 72
 Глогер З. — 214, 223, 253
 Гоголь Н. В. — 255
 Голосовкер Я. Э. — 78, 80, 271
 Голубев В. С. — 70, 72
 Голубев С. Т. — 70, 72
 Гомер — 14, 30, 52, 158, 180, 247, 257
 Гонценбах А. — 201
 Гораций, Квинт Флакк — 11, 72, 81, 84, 85, 220
 Городецкий В. В. — 19, 53, 63
 Грабарь-Пассек М. Е. — 52
 Граи — 258
 Гревс И. М. — 28
 Гренфельд Б. — 167, 168, 171
 Григорий Палама — 66, 96
 Гримм В. — 222, 256
 Гримм Э. Д. — 28
 Гримм Я. — 218, 219, 222, 252–256
 Гроновиус И. Ф. — 40
 Гудьер Ф. Р. Д. — 39, 40
 Гусейнов Г. Ч. — 86
 Данилевич В. Е. — 69
 Данте Алигьери — 62
 Дашевич Н. П. — 58, 96, 184
 Демонакт — 142
 Демут-Малиновский В. И. — 269

Деревицкий А. Н. — 30, 70
 Диденко Ю. В. — 20
 Дикеарх — 160
 Димитрий — 142
 Диоген Синопский — 52, 146, 147, 156, 161
 Диодор Сицилийский — 103, 104
 Дион Хрисостом — 30, 31, 41, 46–48, 50, 52, 54, 55, 92, 94, 137–148, 149–152, 154–156, 158–161, 229, 257, 268, 274
 Дионисий Галикарнасский — 139
 Диттенбергер К. Ф. В. — 171
 Дложевский С. С. — 68, 74
 Дмитриев Л. А. — 262
 Добровольский Л. П. — 13
 Довнар-Запольский М. В. — 262
 Дойель А. — 172
 Драгоманов М. П. — 247, 248, 253, 256
 Дудка-Степович А. И. — 86–88
 Дузе Э. — 15
 Дункан А. — 15
 Дурново Н. Н. — 256
 Евклид — 48
 Еврипид (Эврипид) — 74, 80, 161, 259
 Евсевий Кесарийский — 48
 Елена — 154, 161
 Ермоген (Голубев), архиеп. — 72
 Ернштедт В. К. — 46–48, 54
 Ефрон И. А. — 30
 Жан Ж. — 172
 Жебелёв С. А. — 27, 50

- Жекулина А. В. — 42
 Житецкий И. П. — 87
 Жучков В. А. — 14, 83
 Зевс — 110
 Зелинский Ф. Ф. — 28, 37, 206, 207, 252, 259
 Зеньковский В. В. — 84
 Зибель А. — 108
 Зотиков И. А. — 73, 221, 273
 Зуев В. Ю. — 49, 50
 Иваница Г. Н. — 76
 Иванов В. В. — 35
 Иванов И. — 183
 Иванов П. В. — 206, 247–249, 253, 261
 Игнатий из Никловичей — 248, 253, 254
 Игнатьев П. Н. — 70
 Иконников В. С. — 58, 67
 Иоанн Златоуст, св. — 261
 Иодко О. В. — 59, 61
 Исократ — 103
 Кабальеро Ф. — 251
 Кавалеридзе И. П. — 79
 Каждан А. П. — 18
 Каллимах, худ. — 107, 109, 111, 114
 Кальницкий М. Б. — 7, 10, 20, 45, 46, 70, 76, 77, 79, 279
 Караджич В. — 198, 250
 Кассо А. А. — 34
 Кастор — 111
 Катулл, Гай Валерий — 9, 11, 12, 56, 72, 80–82, 84, 85
 Кауэр Фр. — 38, 90, 97
 Качковский П. Э. — 73
 Кёлер Р. — 199–201, 203, 249–252, 254–257
 Керам К. — 172
 Кинк Х. А. — 172
 Клаве З. А. — 65
 Клековкин А. Ю. — 20, 217, 221, 265–282
 Клинггер В. П. — 25, 28, 29, 34, 35, 68, 75, 78, 257
 Клио — 278
 Клодт П. К. — 269
 Кнауэр Ф. И. — 13, 68–70, 72
 Ковач Н. — 226
 Козьма Прутков — 49
 Колесов В. В. — 12
 Комиссаржевская В. Ф. — 15
 Кондаков Н. П. — 88, 89
 Констанций, Флавий Юлий — 208
 Коропчевский — 183
 Коростовцев М. А. — 172
 Короткий В. А. — 69
 Корчак Я. — 54
 Костомаров Н. И. — 185, 186, 235, 237, 243, 245, 275
 Кратет Фиванский — 146
 Кржижановский С. Д. — 17, 271
 Кривошеев А. С. — 65
 Крилла, св. равноап. — 79
 Кротон — 25
 Крутиков П. С. — 279
 Крученых А. Е. — 16
 Ксенофонт Афинский — 133, 160
 Ксименес Э. — 70, 221
 Кукулина И. В. — 46–48

- Кулаковский А. Ю. — 86
 Кулаковский С. Ю. — 56, 86–88
 Кулаковский Ю. А. — 9, 25, 28–33, 49, 54, 56–62, 64, 66–68, 70, 74, 75, 78, 81, 83–88, 95, 106, 252, 267, 268, 271, 276, 278, 281
 Кулинский И. И. — 20
 Кульбин Н. И. — 16
 Кульженко С. В. — 62, 95
 Кун Э. — 187, 250, 252, 254
 Курциус О. — 258
 Кушелев-Безбородко А. Г. — 245
 Кызласова И. А. — 89
 Лагин А. И. — 256
 Лайстнер Л. — 220
 Ламанский В. И. — 256
 Ламия — 258
 Ландрин — 6
 Латышев В. В. — 27, 91
 Лахман К. — 12
 Лермонтов М. Ю. — 12
 Лесаж А.-Р. — 222
 Лессинг Г. Э. — 227
 Лециус И. А. — 13, 25, 28, 49, 66, 67, 78, 81, 96
 Либкнехт К. — 8
 Либрехт Ф. — 195
 Ливий, Тит — 82
 Липсиус Ю. Г. — 36
 Лисикрат — 110
 Лифшиц М. А. — 257
 Лихачёв Д. С. — 12, 262
 Лобода А. М. — 75, 76
 Лосев А. Ф. — 37, 55
 Лукиан Самосатский — 48, 142
 Лукреций, Тит Кар — 82
 Луньяк И. И. — 37
 Лурье И. М. — 172
 Луцилий, Гай — 160
 Любинская А. Н. — 14, 83
 Любкер В. — 103
 Магаффи Дж. П. — 167, 171
 Маевский К. Я. — 123
 Маковский Игн. — 73
 Максим Тирский — 50
 Максимова А. Б. — 37
 Максимович М. А. — 212, 253, 261
 Макшеева Н. А. — 95
 Малеин А. И. — 29
 Мандельштам О. Э. — 6, 19, 20
 Манжура И. И. — 211, 214, 223, 249, 253, 254, 256
 Маркевич А. П. — 29
 Марон, Публий Вергилий — 26
 Марр Н. Я. — 50
 Марс — 111, 209,
 Марциал, Марк Валерий — 11, 91
 Маслов С. И. — 28
 Махлин П. Я. — 26
 Медведев И. П. — 44, 48
 Медуза — 258
 Мейер Э. Г. — 252, 253
 Мейерхольд В. Э. — 15, 282
 Менелай — 161
 Метлинский А. А. — 261
 Метрокол — 146
 Мефодий, св. равноап. — 79
 Микш И. А. — 37

Миллер Вс. Ф. — 28
 Милон, Тит Анний — 102
 Митюков А. К. — 64
 Михаил Акоминат — 66, 96
 Мищенко Ф. Г. — 28, 29, 37
 Модестов В. И. — 28, 29, 160
 Моммзен Т. — 101, 163
 Моним Сиракузский — 146
 Мор Т. — 95
 Мосенкис Ю. А. — 35
 Мусоний Руф — 145
 Мюллер М. — 232, 233, 260, 261
 Наппельбаум М. С. — 83
 Нахов И. М. — 52, 54, 55
 Непот, Корнелий — 132
 Нерва, Марк Кокцей — 111, 145, 159
 Нетушил И. В. — 30
 Никита Хониат — 18
 Никитин П. В. — 59–61,
 Никифор II Фока — 25, 56, 57, 59, 60
 Николаев В. Н. — 123
 Николаева О. А. — 26
 Николай II (Романов) — 63, 79, 93
 Ницше Фр. — 161
 Нонн Панополитанский — 54
 Октавий, Гай — 136, 281
 Ольга, св. кн. — 79
 Осоргин М. А. — 75
 Павлуцкий Г. Г. — 76, 92, 105–113,
 115, 135, 136, 281
 Пападимитриу С. Д. — 58, 59, 66, 96
 Парацельс (Гогенхайм Ф. А. фон)
 — 256
 Пастернак Б. А. — 18
 Патон Е. О. — 125
 Пахаревский Л. А. — 68
 Пёльман Р. — 161
 Перепёлкин Ю. Я. — 172
 Перро Ж. — 113
 Пертес Фр. — 133
 Петр В. И. — 25, 68
 Пий, Антонин — 111
 Пиррон Элидский — 104
 Писистрат — 149
 Питра Г. — 202
 Платон — 25, 48, 160, 179
 Плиний Старший — 113, 255
 Плотин — 78
 Плутарх Херонейский — 81, 103, 259
 Полетика Н. П. — 57, 58, 68–70,
 72, 74
 Поликлет — 130
 Поллукс — 111
 Полякова С. В. — 52
 Помпей, Гней — 102, 103
 Попова О. Н. — 183
 Поспишиль А. О. — 68
 Потебня А. А. — 28, 186, 187, 191,
 192, 195, 219, 233, 235, 237, 246,
 254–256, 260–262, 275
 Прахов А. В. — 136
 Прокопий Кесарийский — 187, 206,
 247, 252
 Протей — 161
 Прутков К. П. — 272
 Псевдо-Скилица — 100
 Птолемей — 166, 167, 171
 Птолемей Филадельф — 171

Пухштейн О. — 109
 Пучков Н. А. — 20
 Пушкин А. С. — 7, 12, 18
 Пыпин А. Н. — 185,
 Ребер Ф. фон — 107, 108
 Рейнгардт Л. Я. — 257
 Рейнгардт М. — 15
 Рейнмар фон Цветер — 215, 218–
 220, 227, 230
 Ржига В. Ф. — 66
 Ричль Фр. — 36
 Романов Е. Р. — 194, 247, 249, 261
 Романовский В. А. — 82
 Ростовцев М. И. — 28, 31, 49, 50, 56
 Рубик Э. — 6
 Рудченко И. Я. — 255, 257
 Руссо Ж.-Ж. — 147, 160
 Рыков В. Н. — 79
 Сабашников М. В. — 24
 Сакс Ганс — 226
 Секстий, Квинт — 142
 Селивачёв М. Р. — 59
 Семадени Д. А. — 6
 Сенека, Аней Луций — 142, 160
 Сизиф — 224
 Симони П. К. — 262
 Синявский А. — 13
 Скимн Хиосский — 104
 Скоропадский П. П. — 279
 Смыка О. В. — 52
 Сниткин П. В. — 79
 Соболевский А. И. — 44, 261, 262
 Соболевский С. И. — 86
 Соколов А. — 254
 Соколов Ф. Ф. — 27
 Сократ — 22, 52
 Соловцов Н. Н. — 123
 Соломон — 223, 256
 Солон — 149
 Сонни А. А. — 44
 Сонни Г. А. — 44
 Сонни Е. А. — 44
 Сонни Н. А. — 44
 Сотион Александрийский — 227–230
 Софокл — 259
 Спарро П. И. — 123
 Стефан Византийский — 136
 Столыпин П. А. — 73, 92
 Стратановский Г. А. — 247
 Татиан Сириец — 48
 Тахо-Годи А. А. — 52
 Тацит, Гай Корнелий — 62, 82, 83, 150
 Терещенко Н. А. — 157
 Терещенко Ф. А. — 157
 Тимей Сицилийский — 98, 103
 Титарчук Ю. А. — 26
 Тойбнер Б. Г. — 48, 171
 Толстой Д. А. — 36
 Толстой Л. Н. — 147
 Тон К. А. — 269
 Траян, Марк Ульпий Нерва — 55,
 145, 158
 Требоний, Гай — 103
 Трог, Помпей — 38–40, 90, 102, 103
 Туницкий Н. Л. — 87
 Тункина И. В. — 60
 Тынянов Ю. Н. — 7
 Ульяновский В. И. — 69

- Унгер Г. Ф. — 99
 Успенский Ф. И. — 50
 Фаустина, Анния-Галерия — 111
 Фемида — 278
 Феодор Продром — 59, 66, 96
 Феоклимен — 161
 Ферекид — 256
 Фёрстер-Ницше Э. — 161
 Фет А. А. — 84, 91
 Фидлер (Сонни) М. А. — 42, 44
 Филипп II Македонский — 102
 Филопапп, Гай Юлий Антиох — 110
 Фихман И. Ф. — 172
 Флейшман А. С. — 18
 Флоринский Д. Т. — 58
 Флоринский С. Т. — 58
 Флоринский Т. Д. — 54, 57–59, 74, 81
 Фортинский Ф. Я. — 44, 54, 81
 Фортуна — 207, 208
 Фотий, патриарх — 48
 Франк-Каменецкий И. Г. — 35
 Фрейденберг О. М. — 35
 Фролов Э. Д. — 23, 24, 27, 28, 31
 Фуртвенглер А. — 107, 109, 111
 Фюстель де Куланж Н. Д. — 172
 Хвостов М. М. — 28
 Хёнт А. — 167, 168, 171
 Хронос — 202, 250
 Цветаев И. В. — 29
 Цезарь, Гай Юлий — 102, 103
 Целлер Эд. — 162
 Церера — 129, 130
 Церетели Г. Ф. — 171
 Цицерон, Марк Туллий — 26, 133
 Цыбенко О. П. — 54
 Червинский А. С. — 46
 Чижов П. А. — 65
 Чубинский П. П. — 216, 220, 247–249, 253, 254, 256, 261
 Чудакова М. О. — 6
 Чуткий А. И. — 58
 Шварц В. — 187, 254
 Шевырев С. П. — 185
 Шейн П. В. — 193
 Шервинский С. В. — 10
 Шестаков Д. П. — 67, 86, 96
 Шестов (Шварцман) Л. И. — 271
 Шиле А. Я. — 21
 Шиман К. Ф. — 153
 Шипье Ш. — 113
 Шлейфер Г. П. — 53, 77, 123
 Шмидт С. О. — 78
 Шпет Г. Г. — 271
 Штайн Э. — 62
 Штерн Э. Р. фон — 30, 37
 Штовассер Й. М. — 92, 117–122, 124, 126–133, 265
 Штром И. В. — 77, 123
 Шульгин В. В. — 14
 Щербань Т. А. — 57
 Эзоп — 228, 257
 Элий Аристид — 50
 Эней — 22
 Эпиктет — 143, 160
 Эрбен К. Я. — 254
 Эрленвеин А. А. — 214, 215, 220, 223, 253, 254

- Эсхил — 90–92, 113, 228, 259
 Эфор Кимский — 103
 Ювенал, Децим Юний — 9
 Юлиан II Отступник — 55, 61,
 Юстин, Марк Юниан — 38–40, 98, 99, 102
 Ющинский А. — 70
 Якубанис Г. И. — 75
 Якубский Б. В. — 76
 Ярди Дж. — 38–40
 Ярхо В. Н. — 86
 Ясевич В. Е. — 13, 19, 51, 53, 65, 79, 94, 125, 152, 157, 162, 177
 Ястребов В. Н. — 212, 253, 254
 Aeschylus — см. *Эсхил*
 Alexander the Great — см. *Александр Македонский*
 Aristophanes — см. *Аристофан*
 Arnim H. von — см. *Арним Г. фон*
 Balinski K. — см. *Балинский К.*
 Basile G. B. — 250
 Belger Chr. — 90
 Bembo (Бембо П.) — 112
 Benfey Th. — 254
 Benndorf O. — 111
 Boettger C. von — 260
 Bonhoeffer Ad. — см. *Бонхёффер А.*
 Buecher K. — см. *Бюхер К.*
 Buechner Fr. — 90
 Caballeros F. — см. *Кабальеро Ф.*
 Catullus, Gaius Valerius — см. *Капулла, Гай Валерий*
 Cauet Fr. — см. *Кауэр Фр.*
 Cohoon J. M. — 52
 Comparetti D. — 255, 256
 Crosby H. L. — 52
 Cursius O. — см. *Куриус О.*
 Dieulafoy (Дьелафуа П. Ж.) — 109, 111, 114
 Dionis Prusaensis, Chrysostomi — см. *Дион Хрисостом*
 Dunlop J. — 256
 Euripide — см. *Еврипид*
 Francois L. — 55
 Gellius, Aulus — 251
 Gloger Z. — см. *Глогер З.*
 Gonzenbach L. — 251
 Gradenwitz O. — 171
 Grenfell B. — см. *Гренфелль Б.*
 Grimm J. — см. *Гримм Я.*
 Gruppe O. — 247
 Hachette L. — 160
 Hahn H. von — см. *Ган Г. фон*
 Heckel W. — 39
 Herodes — см. *Герод Аттик*
 Hoefler M. — 259
 Hunt A. — см. *Хёнт А.*
 Jecklin D. — 255
 Jouguet P. — 171
 Justin — см. *Юстин, Марк Юниан*
 Kenyon — 171
 Koehler R. — см. *Кёлер Р.*
 Krauss Fr. S. — 250, 251
 Krebs — 171
 Krumbacher K. — 252
 Kuhn E. — см. *Кун Э.*
 Laistner L. — 255
 Lambros Sp. — 250

- Liebrecht F. — 254
 Loewy E. — 111
 Lumbroso C. — 171
 Mahaffy J. P. — см. *Магаффи Дж. П.*
 Marcus Aurelius — 92
 Martialis, Marcus Valerius — см. *Марциал, Марк Валерий*
 Mitteis — 171
 Moszynska I. — 249
 Nicole — 171
 Ovidius, Publius Naso — 91
 Peter R. — 252
 Pitre G. — 252
 Plinius (Gaius Plinius Secundus) — см. *Плиний Старший*
 Plutarch — см. *Плутарх Херонейский*
 Poehlmann R. — см. *Пёльман Р.*
 Polites N. — 249
 Poppelreuter J. — 92
 Procopius Caesarensis — см. *Прокорий Кесарийский*
 Reimer P. — 94, 162, 163
 Reynaud G. E. — 38
 Ribbeck O. — 90
 Roscher H. — 255, 258
 Roscher W. H. — 252
 Schmidt B. — 251
 Schow N. — 166
 Seyffert O. — 90
 Skarbczyk M. — 254
 Somma M. — 199
 Sophocles — см. *Софокл*
 Stowasser S. M. — см. *Штовассер Й. М.*
 Terentius, Publius Afer — 92
 Teubner B. G. — см. *Тойбнер Б. Г.*
 Thumb A. — 251, 252
 Trogus — см. *Троз, Помпей*
 Valjavec M. K. — 255
 Veckenstedt A. E. — 254, 256
 Vergilius, Publius Maro — см. *Вергилий, Публий Марон*
 Viereck P. — 171
 Vonbun F. J. — 255
 Welcker F. G. — 257
 Wilken U. — см. *Вилькен У.*
 Wissowa G. — 252
 Wojcicki K. W. — 255
 Wolf F. — 251, 256
 Wuttke F. — 254, 257
 Yardley J. C. — см. *Ярдли Дж.*
 Zavadzki V. I. — 94
 Zeller E. — см. *Целлер Эд.*
 Zielinski Th. — см. *Зелинский Ф. Ф.*

В оформлении книги использованы репродукции
 из фондов Института рукописи Национальной библиотеки Украины
 им. В. И. Вернадского, Музея истории Киева,
 из монографии о М. И. Ростовцеве «Скифский роман» (М., 1997),
 аннотированного альбома фотографий 1977–1988 годов
 «Фотоспомин: Київ, якого немає» (К., 2000),
 а также личных архивов
 Ивана Алексеевича ЗОТИКОВА,
 Михаила Борисовича КАЛЬНИЦКОГО,
 Александра Юрьевича КЛЕКОВКИНА,
 Михаила Романовича СЕЛИВАЧЁВА,
 Владимира Евгеньевича ЯСИНЕВИЧА,
 из авторского фотоархива

Оглавление

Prefatio	5
Ратоборец самодовлеющей науки	21
Учеба (36). Первая ученая статья и педслужба (37). Жена (42). Докторская (46). Участие в переводе «Стратегии» Никифора II Фоки и «Истории» Аммиана Марцеллина (56). Дела 1900–1910-х (67). Студенты об Адольфе Сонни (78). Хлопоты (86).	
Перечень опубликованных трудов Адольфа Израилевича Сонни	90
<i>Фридрих Кауэр</i> . Рецензия на монографию Адольфа Сонни «О массилийских спорных вещах» (1889)	97
<i>Адольф Сонни</i> . Отзыв о сочинении магистранта Г. Павлуцкого «Коринфский архитектурный орден» (1893)	105
<i>Адольф Сонни</i> . Рецензия на «Латинско-немецкий школьный словарь» Йозефа М. Штовассера (1894).....	117
<i>Адольф Сонни</i> . О названии коринфского архитектурного ордена (1895)	134

<i>Адольф Сонни</i> . К характеристике Диона Хрисостома (1898)	137
<i>Адольф Сонни</i> . Рецензия на брошюру Ульриха Вилькена о греческой папирологии (1899)	163
<i>Адольф Сонни</i> . Рецензия на книгу Карла Бюхера «Работа и ритм» (1900)	173
<i>Адольф Сонни</i> . Горе и Доля в народной сказке (1906)	184
Список сокращений	264
<i>Александр Клековкин</i> . Об этой книге	265
Указатель имен	283

Національна академія мистецтв України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Наукове видання

Андрій Олександрович ПУЧКОВ

АДОЛЬФ СОННІ, КИЯНИН
До історії класичної філології
в Імператорському університеті св. Володимира

Післямова Олександра Юрійовича Клековкіна

*На першій сторінці обкладинки використано профис фрагменту
східного фризу Парфенона: канефори очолюють святкове шестя.
Школа Фідія, перша третина V ст. до Р. Х.*

Друкується в авторській редакції
Комп'ютерний набір, верстання, препринт — Андрій Пучков
Коректура — Іван Кулінський

Здано до складання 17.01.2011. Підписано до друку 11.05.2011.
Формат 70 x 100 1/32. Папір офс. Спосіб друку офс. Гарнітура «Мысль»,
Ум. друк. арк. 10,4. Обл.-вид. арк. 11,9. Наклад 150 прим. Зам. № 11-276.

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України
Україна, 01133, Київ, вул. Щорса, 18-Д, www.mari.kiev.ua
Свідощтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1186 від 29.12.2002

Видруковано у друкарні «Видавництва "Фенікс"»
Україна, 03680, Київ, вул. Полковника Шутова, 13-Б
Свідощтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 7.12.2000

Printed in Ukraine